

Асмодей Денница



Асмодей Денница

ХОЛОД. Перевал Дятлова

«Автор»

2026

Денница А.

ХОЛОД. Перевал Дятлова / А. Денница — «Автор», 2026

Зимой 1959 года девять студентов Уральского политехнического — весёлые, молодые, ещё не знающие своей судьбы — уходят на лыжах к перевалу Холатчахль. На Гору Мёртвых. Через месяц их находят раздетыми на склоне: палатка разрезана изнутри, следы ведут вниз, к кедру, и никто — ни следователи, ни учёные, ни охотники-манси — не может объяснить, почему они вышли на мороз без обуви и почему им было жарко. Дело закрывают, а гора продолжает хранить свой секрет. Проходит семнадцать лет. Инженер Анатолий Кротов, тот самый, кто первым услышал имя Дятлова в коридоре секретного института, получает от таинственного старика Матвея тёплый камень и карту с девятью точками. Вместе с врачом Еленой он отправляется туда, откуда не возвращаются. Но то, что он найдёт под горой, страшнее любой официальной версии. Здесь нет ни одной готовой разгадки — только мороз на стекле, который каждый видит по-своему, и лёд, который хранит всё, что случилось, и не торопится рассказывать.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. ПИСЬМО КЧИТАТЕЛЮ	5
ПРОЛОГ. ГОРАМЁРТВЫХ	7
ГЛАВА1. ПРОПАВШИЕ	17
ГЛАВА2. ИВДЕЛЬ	26
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Асмодей Денница

ХОЛОД. Перевал Дятлова

ПРЕДИСЛОВИЕ. ПИСЬМО КЧИТАТЕЛЮ

«Мороз на стекле каждый видит по-своему.» — из заметок автора, 1959

Я долго не решался написать эту книгу.

Двадцать лет — с того февраля, когда из Ивделя ушла на лыжах весёлая, молодая, живая группа, чтобы не вернуться, — я носил в себе эту историю. Я перебирал её куски, как перебирают камешки на берегу: тёплые, шершавые, непохожие друг на друга. Я читал протоколы, которые противоречили сами себе. Я смотрел на снимки, где девять человек смеются, ещё не зная, что их лица будут узнавать шесть десятилетий подряд. Я слушал шепот охотников-манси, которые знали эту гору задолго до того, как она попала в сводки, и называли её по-своему — Холатчахль. Гора Мёртвых.

И чем дальше я всматривался, тем яснее понимал: то, что случилось на склоне горы 1079, не объясняется ни одной из официальных версий. Ни лавиной. Ни инфразвуком. Ни испытаниями, о которых не принято говорить вслух. Не потому, что эти объяснения ложны — а потому, что они описывают тело события, но не его душу. А у события, как и у человека, есть душа. И душа эта — память.

Эта книга — не расследование. В ней нет ни одной новой улики и ни одной готовой разгадки. Всё, что я мог узнать, я узнал: из протоколов, из воспоминаний поисковиков, из радиоактивных пятен на одежде погибших, из тех немногих слов, которые успели оставить те, кто вернулся живым. Дальше начинается то, что я не могу назвать иначе, чем правдой сердца. Правдой, которую нельзя проверить прибором, но можно почувствовать, если долго стоять у костра в зимнюю ночь и слушать, как гора дышит.

Я не выдумал девятиерых. Они были. Игорь, который вёл, — и который в последнюю ночь, по рассказам тех, кто искал, сидел у берёзы, обнимая её, как обнимают человека, потому что не мог оставить ту, которую любил. Зина, которая бежала обратно к палатке — за одеялом, за теплом, за чужой жизнью, — и упала в восьмистах метрах от цели. Юра и Георгий, которые лезли на кедр, обдирая руки в кровь, чтобы согреть товарищей. Люда, которая снимала последние тёплые дни на плёнку. Рустем, который делал всё правильно до самого конца — и не успел надеть второй валенок. Коля, который верил, что гору можно рассчитать, как чертёж. Саша, который сидел с трубкой, пока она не погасла. Семён, фронтовик, который не смотрел на перевал, потому что знал: то, что там смотрит, не нужно кормить своим взглядом.

Их судьба должна быть отдана тем, кто любил их и до сих пор не смирился. Им — эта книга. Не потому, что они ждут разгадки, — они ждут другого. Они ждут, чтобы о них помнили. Чтобы их имена произносили не шёпотом, с оглядкой, а вслух, с теплом, как произносят имена живых.

Поэтому в этой книге много вымысла. Я не скрываю этого: все диалоги, все сны, вся мистика — от первого до последнего слова — принадлежат мне. Анатолий Кротов, инженер, который однажды услышал имя Дятлова в коридоре секретного института и остановился, — выдуман от начала до конца. Выдуман и Матвей, старик, который сторожил гору сорок лет и знал её до последнего камня. Выдумана Она — та, что спит под Холатчахлем и которой снятся тёплые.

Но вымысел здесь — не ложь, а лестница. Лестница, по которой читатель может спуститься к тому, что не описывается в актах: к чувству, которое охватывает человека на этом

склоне без всякой причины. К уверенности, что под ногами — не снег, а что-то более древнее и более тёплое, чем снег. К тишине, которая не беззвучна, а звучаща — на пределе слышимости, на той ноте, которую человек не слышит ушами, но слышит всем остальным.

Я хотел написать книгу не о том, как умирают, а о том, как помнят. Не о холоде, а о тепле, которое оказывается сильнее мороза. Я не знаю, что именно случилось той ночью на перевале. Но я знаю, что мёрзнуть можно в тепле, а любить — только на холоде. И ещё я знаю: если долго-долго смотреть на морозный узор на стекле, начинаешь видеть в нём не хаос, а лица. Всё зависит от того, кого ты ищешь.

Эта книга — вымысел. Но память, о которой она рассказывает, — настоящая. Она живёт в камнях, в следах, в фотографиях. Она живёт в морозном узоре на стёклах. И она живёт во мне, потому что я — тот, кто слушал. Долго. Всю жизнь.

Я очень прошу вас об одном, читатель: не ищите в этой книге ответа. Ищите в ней вопрос. А когда найдёте — задайте его себе, стоя у окна в зимнюю ночь, когда за стеклом тихо падает снег. И послушайте, что ответит вам тишина.

Потому что гора никогда не спешит. Гора умеет ждать. И те, кто спит под ней, тоже научились.

А если вам покажется, что в глубине этой книги кто-то очень старый и очень усталый видит вас сквозь лёд и помнит ваше имя — не пугайтесь. Это не она. Это память. Ваша память. И она тёплая.

Я не знаю, поверите ли вы в эту историю. Наверное, полюбить её можно, только пропустив через себя — так, как инженер Кротов пропустил через себя правду о девятирех, как старуха из деревни пропустила через себя страх, как старик Матвей пропустил через себя сорок лет одиночества. Но я прошу вас об одном: когда дойдёте до места, где замерзают, — не отворачивайтесь. Посмотрите им в глаза. Им очень важно, чтобы кто-то посмотрел им в глаза. Они ждали этого шесть десятилетий.

Это и есть моя работа. Не разгадать тайну — разгадки, я уверен, не существует, потому что не всякая тайна создана для разгадывания. Моя работа — быть тем, кто смотрит. Тем, кто слушает. Тем, кто несёт дальше. И моя работа — научить вас, читатель, делать то же самое. Потому что гора умеет ждать. Память умеет ждать. И те, кто спит под снегом, — тоже научились. Они ждут не следователя и не учёного. Они ждут того, кто придёт с открытым сердцем и произнесёт их имена вслух — не шёпотом, не с оглядкой, а тепло, как произносят имена живых.

Прежде чем вы перевернёте эту страницу, я хочу, чтобы вы знали ещё одно. Всё, что написано дальше, — правда моего сердца. Она не совпадает с правдой протоколов — и не должна. Она не совпадает с правдой легенд — и не должна. Она просто моя. Единственная правда, которую я могу вам дать, — это правда человека, который тридцать шесть лет слушал одну историю и в конце концов научился её рассказывать.

Дальше — история. Начнём.

ПРОЛОГ. ГОРАМЁРТВЫХ

ОТ АВТОРА

Эта книга — вымысел. Всё, что в ней рассказано о палатке на склоне горы 1079, о девяти туристах Уральского политехнического института и о ночи с 1 на 2 февраля 1959 года, взято из тех событий, которые до сих пор будоражат воображение людей: из протоколов, из воспоминаний поисковиков, из радиоактивных пятен на одежде мёртвых и из тех снимков, где молодые люди смеются, ещё не зная, что их лица будут узнавать шесть десятилетий подряд. Судьба людей, о которых здесь рассказывается, должна быть отдана тем, кто любил их и до сих пор не смирился. Им — эта книга. А всё сверх того — мороз на стекле, который каждый видит по-своему, и лёд, который хранит всё, что случилось, и не торопится рассказывать.

«Не ходи на Холатчахль, сынок. Там спит бабушка, и ей снятся тёплые.» — мансийская сказка, записанная у Ивделя, 1932 год

1

Ночь не начиналась с тишины.

Она началась с печки — с дров, которые Игорь Дятлов подложил в последний раз, с голубого пламени, коснувшегося бересты, с тепла, которое разошлось по палатке волной, как живое дыхание. Было семнадцать часов двадцать минут вечера первого февраля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, и в палатке на склоне горы 1079, которую манси в старину называли Холатчахль — Гора Мёртвых, — девять человек делали обычные вещи: ставили варить кисель, сушили портянки, писали дневник. Один из них, самый молодой, Юрка Дорошенко, лежал на спине и свистел в мандолину так, что струны отвечали ему нежной дрожью, и Рустем Слободин, хозяин инструмента, тихо отбирал его у Юрки — «не свисти, она плачет».

Игорь стоял у входа, смотрел на закат.

Он любил это время — минуту, когда белый склон становится синим, а синий — чёрным, когда границы между небом и землёй не существует, а есть только одна огромная тишина, в которой слышно, как падает снег. Он умел слушать тишину. За пять лет походов он привык, что гора — это не декорация, а сосед, огромный и равнодушный, с которым надо договариваться каждое утро: я пройду, ты позволишь. И сегодня гора позволила. Восхождение на Отортен, по сути, не состоялось — они не дошли, запорошило, и он, руководитель, принял решение: заночевать на склоне, под перевалом, чтобы утром, на свежую голову, всё же попытаться выйти на вершину. Он записал это в дневник. Он делал это всегда — записывал, потому что записи были его способом оставлять след. Ему исполнилось бы двадцать три года в марте. Ему оставалось жить две минуты с небольшим.

Зина Колмогорова сидела у печки и штопала шерстяной носок. Она не любила шить, но любила, когда в руках что-то тёплое. От огня лицо её было золотым, и тёмные волосы, выбившиеся из-под шапки, падали на щёки, и Игорь, обернувшись на склоне, подумал о том, о чём думал последние два года и всё откладывал сказать вслух, потому что в походе не было места таким словам, а дома — времени. Рядом с Зиной лежала куртка Игоря, и она машинально поправляла воротник, и это маленькое, почти незаметное движение было дороже любых признаний.

— Вечерний Отортен, — сказал Юра Кривонищенко, протягивая Игорю исписанный листок. — Соизвольте прочесть свежий выпуск нашей многотиражки.

Это была традиция. В каждом походе они выпускали смешную газету — боевой листок, где поздравляли именинников, подкалывали друг друга, записывали «факты и наблюдения». Игорь взял листок, прочёл вслух, и палатка наполнилась смехом — тем лёгким, коротким сме-

хом людей, которые устали и счастливы, которые завтра пойдут на вершину, а послезавтра начнут спуск домой, к горячей воде, к кроватям, к письмам от матерей.

Люда Дубинина фотографировала. Фотоаппарат её, старый «Зоркий», лежал на рюкзаке, и она перебирала плёнку, вспоминая, сколько кадров осталось. Семён Золотарев — самый старший, тридцати семи лет, фронтовик, с орденом Красной Звезды под курткой — сидел в углу и молчал, и молчание его было не тяжёлым, а прочным, как у человека, который привык, что излишние слова стоят дорого. Он улыбнулся шутке, но глаза его — тёмные, глубокие — смотрели куда-то поверх огня, на брезент, на снег, на небо.

Николай Тибо-Бриньоль, бодрый, весёлый, с расцарапанной щекой, чинил лыжное крепление и рассказывал историю про французских инженеров — своих предков, которые строили на Урале железные дороги, и про то, что гористую местность настоящий инженер всегда уважает, потому что гора — это такой же чертёж, только начерченный Богом. Саша Колеватов сидел рядом, внимательно слушал, попыхивая трубкой, — трубка его тихо тлела, и дым поднимался к пологу, пахнувший добрым табаком, и этот запах смешивался с запахом киселя, и пахло домом.

Так было в семнадцать часов тридцать минут.

Всё это — последнее, что знает о них мир. Всё это — последнее, что они успели надеть на себя для жизни: свитера, лыжные костюмы, шапки, носки. Они не раздевались на ночь — так было теплее, а мороз в ту ночь, по словам метеорологов, достигал минус тридцати, а по словам тех, кто мёрз рядом с этой горой в другие ночи, — куда страшнее.

Печка умирала не от ветра.

Игорь видел, как дрогнул огонь. Сначала он решил, что это порыв — палатка стояла на открытом склоне, ветер бил в неё со стороны перевала, и он, руководитель, уже второй раз за два часа выходил наружу проверить оттяжки. Но огонь дрогнул так, как дёргается зрачок. Пламя вытянулось, побледнело, легло набок — и не встало, а прижалось к дровам, как испуганное животное. Воздух в палатке стал плотным. Игорь заметил, что волосы на его руках встали дыбом, а по шее пробежал холод, который не имел отношения к морозу: это был холод изнутри, из-под рёбер, как будто кто-то положил ладонь ему на сердце и стал ждать, станет ли оно биться чаще.

Он не знал, что это — инфразвук. Он не знал слова, которое через шесть лет придумают учёные для этого чувства: необъяснимый страх, паника без причины, тоска, накрывающая с головой, когда сердце стучит так, что рёбра болят, а тело само, помимо воли, ищет выход, дверь, щель, в которую можно протиснуться и убежать.

Он просто подумал: «Что-то не так».

И в ту же секунду тишина, которую он так любил, — та самая, огромная, мирная тишина горы — раскрылась, как пасть.

Она не была беззвучной. Она была звучащей — на пределе слышимости, на той ноте, которую человек не слышит ушами, но слышит всем остальным: костями, пальцами, зубами. Это был низкий, тяжёлый гул, похожий на дыхание огромного существа, — не злого, нет, но очень, очень старого, и очень, очень голодного, хотя и не голодного в том смысле, в каком бывают голодные волки. Голодного по-другому. Голодного по теплу.

Игорь переступил с ноги на ногу. Пол палатки — лыжи, уложенные креплениями вниз, — жалобно скрипнули. Зина подняла голову от носка и посмотрела на него.

— Ты чего?

— Показалось.

Он сказал это спокойно, потому что он был руководителем, потому что перед ним лежали восемь человек, которые доверяли ему свою жизнь, и потому что он не имел права на страх, которого не мог объяснить. Но страх был. Он поднимался из глубины, как вода в колодце, и он не был похож ни на один страх, который Игорь знал: ни на страх перед срывом на скале, ни

на страх перед грозой в горах, ни на тот холодный ужас, когда на лыжне впереди что-то белое и огромное оказывается не сугробом.

Это был страх, который изучает тебя. Прицельно. Как будто за стеной палатки стоял кто-то, кто не нуждался ни в двери, ни в палатке, ни в вере, ни в сомнении, — и просто смотрел.

— Слышите? — сказал Рустем, отложив мандолину.

Все замерли.

— Ничего не слышу, — сказал Юра Дорошенко, и голос его дрогнул на полуслове, и он обернулся к печке, как будто искал там объяснения, отчего у него мурашки.

— Не слышу, — повторил он уже спокойнее, но рука его — обычная, жилистая рука парня, который тащил на себе сорок килограммов по лесам Северного Урала, — дрожала.

Люда подняла фотоаппарат. Это был её ответ на всё необъяснимое: зафиксировать. Она навела объектив на вход, на полог, на тень, которую отбрасывал свет печки, — почти машинально, почти не глядя, — и щёлкнула. Кадр, о котором она будет помнить до конца, — последний кадр в её жизни, который сохранится в аппарате, снятый за минуту до того, как всё кончилось, и который потом проявят и будут разглядывать десятки лет, ища, разглядывая, споря, где на этом снимке тень, а где — что-то ещё.

Печка дрогнула опять. Пламя прыгнуло вверх, затрещало — и умерло, как будто его накрыли.

В палатке стало тихо-тихо. Во тьме, которая сгустилась на одно мгновение, пока глаза привыкали, Игорь услышал собственное дыхание и дыхания восьми других — они все дышали чаще, чем положено, все вместе, вразнобой, как дышат испуганные птицы в клетке.

Потом кто-то — не Игорь, не Зина, не Юра, не Рустем, не Люда, не Саша, не Коля, не Семён, — кто-то девятый, кого не было в палатке, вздохнул.

Это не было похоже на ветер. Ветер не вздыхает с сожалением.

Вздох прошёл по брезенту, по верёвкам, по лыжам, по лицам — и все они, девять человек, как по команде, почувствовали одно и то же: зов. Не слово, не звук, а чувство, что снаружи — там, за белым склоном, в темноте, где гора опускается в лес, — для них готово что-то гораздо более важное, чем палатка с печкой. Что где-то там, внизу, тепло. Настоящее тепло. Что надо встать, выйти, сделать десять шагов — и всё станет простым и правильным, и страх уйдёт.

Вот это и было самое страшное: не ужас, а уверенность. Уверенность в том, что мир устроен не так, как они думали, и что в этой палатке — не жизнь, а ожидание, и что настало время выйти.

Игорь сбросил с себя оцепенение.

— Так, — сказал он, и голос его, охрипший, прозвучал громче, чем он хотел. — Выходим все. Одевайтесь. Быстро.

Это была ошибка. Он знал это потом, когда разбирал каждую секунду, сотни раз, до конца своей жизни — а жизни ему оставалось три часа, хотя он этого ещё не знал. Инженерный ум, привыкший искать причины, не имел данных: было темно, было страшно, палатка разваливалась под напором чего-то, что он не мог пощупать, и он выбрал единственное решение, которое выглядело разумным: вывести людей из опасного места. На склон. В ночь. Мороз под тридцать градусов — и без той одежды, без той обуви, без тех рюкзаков, которые они завтра должны были нести на Отортен.

Восемь пар рук потянулись к ножам.

Это не было паникой. Это было страшнее — это было послушанием. Они разрезали палатку не снаружи, как разорвал бы её зверь или ветер, а изнутри, ножами, которые лежали у каждого под рукой, потому что так они были уложены на случай нужды. Разрезы были ровные, точные, по три штуки: один короткий, тридцать два сантиметра, — первая попытка, неудачная, нож упёрся в складку ткани, — затем длинный, восемьдесят девять сантиметров, вдоль складки, ровный, как по линейке, и ещё один, сорок два, доводящий разрез до конца. Это потом

шитья из гродненской артели будет объяснять: «Разрезы сделаны ножом изнутри». Это потом опытный эксперт подтвердит: «Изнутри. Рукой человека, который резал спокойно и целенаправленно».

Зина вспомнила потом, как во сне, что тёплая рука Игоря легла ей на запястье, и он сказал: «Держись меня». И что она ответила: «Куда идём?» И что он ответил: «Туда, где светло». А светло было только одно: луна, поднимавшаяся над перевалом, белая, огромная, равнодушная.

Она надела куртку, но не успела застегнуть рукава. Он — свитер, лыжные брюки, шапку, но без ботинок: ботинки стояли у края, рядом, восемь пар, и ни одна не была взята. Валенки — семь штук — остались лежать вдоль краёв. Из всей обуви из палатки вынесли то, что было ближе к телу: спортивные тапочки, которые потом найдут на склоне, в полутора метрах от разреза, у входа, — и всё.

Восемь человек вышли в разрез, один — Игорь — последним, обернувшись, чтобы взять коробку с документами, билетами, деньгами, маршрутными листами. Он не знал, зачем это делает. Он просто, инженер, подумал: «Если палатку размещает, у нас не будет ничего». Он положил коробку в жестяной коробке из-под монпансье у входа — и это потом, через месяц, будет стоять в актах как необъяснимое: документы, которые взяли с собой, остались в палатке, хотя человек, который их брал, намеревался идти далеко. Он положил их, потому что не собирался возвращаться. Потому что, выходя в разрез, он уже знал — так, как знают во сне, — что обратно этой дороги нет.

Свет луны лежал на склоне, как дно высохшего моря: белое, плотное, с синими тенями. И в этом свете, на этом склоне, стояли они — девять человек, в свитерах, без обуви, с ножами в руках, и смотрели вниз, в лес, где чернели кедровые деревья и где, казалось, ждёт их что-то тёплое и родное.

— Не смотрите вверх, — сказал Семён Золотарев, единственный, кто не потерял голоса.

Его голос был тихим, спокойным, почти ласковым, как голос человека, который стоял под огнём и знает, что у страха есть цена, а у храбрости — срок. Никто не понял, зачем он это сказал. Все почувствовали, что смотреть вверх нельзя.

Они шли вниз.

Склон был крутой. Снег — глубокий. Ноги, одетые в носки, проваливались, и каждое следующее усилие давалось тяжелее предыдущего, и они шли не так, как идут, спасаясь, — они шли так, как идут вереницей, держась друг за друга: шесть или семь пар следов рядом, потом двое отделились, потом сошлись опять, и все вместе, плотной кучей, спускались в лес, к кедровому дереву, к теплу, которого не было.

Пятнадцать метров от палатки они прошли вместе.

Потом следы разошлись.

Матвей, охотник, который через три недели будет смотреть на эти следы с вершины, скажет потом, шепча, на своём языке, что следов было девять, а надо было восемь, и что девятый — средний, большой, без пальцев — не принадлежал ни одному из них. Он ошибётся. Или не ошибётся.

Они дошли до кедрового дерева.

Кедровое дерево было огромное, метра четыре в обхвате, с могучими нижними ветвями, уходящими в снег. Это было единственное высокое дерево на том краю леса — остальные, карликовые берёзки и молодые пихты, прятались ниже. Поэтому они выбрали кедр. Поэтому у кедрового дерева они остановились. Здесь была стоянка — кострище, которое они расчистили от снега, дрова, которые надо было добыть из ветвей, — и здесь, у кедрового дерева, они поняли, что спастись больше не нужно, потому что спастись уже не от чего.

Страх ушёл.

Так же внезапно, как пришёл. Гул прекратился. Зов прекратился. Осталась только ночь — синяя, морозная, прекрасная, с луной над перевалом, с тишиной, которая была уже прежней, мирной, уютной, той самой тишиной, которую Игорь любил.

И они сделали то, что делают люди, когда страх уходит: попытались выжить.

Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко полезли на кедр. Лезли на морозе, в носках, в голых ладонях, цепляясь за ветви мёрзлыми пальцами, обламывая их собственным весом, срываясь и залезая снова, и снова, и снова, пока руки не покрылись кровью, а кора кедровых деревьев — полонами тёмного, смерзающегося сока. Они наломали ветвей — целую кучу, огромную, гору суши и хвои — и сложили костёр. Кто-то поджёг. Огонь вспыхнул жёлтый, живой, и в свете его девятнадцать сгрудились вокруг, протягивая к пламени руки с обмороженными пальцами.

Они говорили. Кто-то смеялся — коротко, нервно. Люда сидела ближе всех к огню и растирала замёрзшие пальцы ног, а Зина накинула ей на плечи свой свитер — то ли свой, то ли Игорев, теперь уже никто не разберёт. Семён Золотарев сидел напротив огня, не протягивая рук, и смотрел на пламя так, как смотрят на вещи, которые знают: в лицо, прямо, не отводя глаз.

— Он сказал, что гора спит, — сказал вдруг Юра Кривонищенко, ни к кому не обращаясь. — Перед походом мне старик один сказал: не ходите на Холатчахль. Гора спит. Разбудите — упадёт.

— Не упадёт, — сказал Игорь, но голос его был пустой.

Он стоял чуть в стороне от огня — там, где от костра было видно небо над перевалом. Он стоял неподвижно, руки в карманах, и смотрел вверх, на луну, на звёзды, на белый склон, по которому они спустились. И, глядя вверх, он увидел то, что потом не сможет описать никому, потому что никого, кто бы спрашивал, уже не будет.

Свет над перевалом.

Не луна. Луна стояла ниже — огромная, спокойная, белая. Свет, который он увидел, был другой: он поднимался над перевалом, над горой, над камнями, которые они обошли сегодня, — поднимался медленно, как дыхание, как столб тёплого воздуха над костром, только несравненно больше, — и был он не белый, не жёлтый, не оранжевый. Он был цвета старого льда, цвета того света, который приходит на дно ледниковой трещины в полдень, когда солнце падает почти вертикально: бледно-голубой, разреженный, ночной. Он поднимался из горы. Из склона, из-под снега, из-под камней, из самого сердца Холатчахля — и по мере того, как он поднимался, он собирался в форму.

Игорь Дятлов был инженером-радиотехником. Он строил приёмники, ловил голоса из-за Урала, знал, как из пустоты рождается сигнал и как сигнал обретает форму. Поэтому он не мог не узнать этот свет. Это был не свет фонаря, не свет костра, не свет звезды. Это был свет, который имел объём, который имел намерение, который смотрел.

Форма.

Огромное, бледно-голубое, прозрачное лицо над перевалом — шириной с полнеба, — сложенное из света и инея, из тумана и льда, старое, как гора, усталое, как мать, которая не спит третью ночь, и смотрело оно вниз, на склон, на кедр, на костёр, на девятнадцать — с вниманием.

Не с угрозой. Игорь понял это через мгновение, и от этого стало ещё страшнее: в этом взгляде не было злобы. В нём было то, чего он не мог вынести, — узнавание. Как будто она — эта гора, это лицо, эта древняя женщина из льда и ночи — давно ждала именно их, девятнадцать, именно в эту ночь, именно у этого огня, и теперь видела их всех, и считала их, и помнила каждого.

— Не смотрите вверх, — повторил Семён, и голос его на этот раз не был ласковым. Он был глухим, как звук, который издаёт дрова, когда их заваливают снегом.

Но Игорь смотрел.

И она посмотрела на него.

Свет качнулся — как качается голова человека, который удивляется чему-то очень старому и очень простому, — и над перевалом прошёл вздох. Тот самый вздох, который они слышали в палатке, но теперь — в сто раз громче, в сто раз ближе, и он был не один: он был хором. Как будто тысячи голосов, тысячи ртов, тысяч и тысяч замёрзших ртов, лежащих под этим снегом с незапамятных времён, — не выдохнули, а вздохнули вместе: «Тёплые. Наконец-то тёплые».

Костёр дрогнул. Пламя легло — не от ветра, ветра не было, — пламя легло набок, как живое существо, которое что-то услышало, и потемнело, и стало сжиматься, съёживаться, умирать на глазах, хотя дров под ним было много и сухих, и смолистых.

Юра Дорошенко рванулся к огню, подкинул веток, подул, растопырив ладони, — и огонь вспыхнул опять, но уже не жёлтый, а синий, холодный, как будто горел не сушняк, а лёд.

— Не надо, — сказала Зина, и это было первое слово, которое она произнесла за полчаса. — Пусть горит. Пусть горит всё.

Она села на снег, у самого кедра, у самой корня, где кора была тёплой от смолы, и положила руки на колени, и закрыла глаза. Лицо её было спокойным, красивым, как у человека, который наконец-то принял какое-то решение, и Игорь, глядя на неё, понял, что впервые за все годы их знакомства видит её по-настоящему — видит, какой она будет через сорок лет, если бы ей было суждено состариться: той же, тёплой, сильной, спокойной.

Он подошёл к ней и сел рядом.

— Прости, — сказал он. — Я завёл вас сюда.

— Ты не заводил. Нас позвали.

Он ничего не ответил. Рука его легла поверх её руки, на мёрзлую шерсть носка, на холодную ткань свитера, — и ни один из них не пошевелился, чтобы убрать руки. Сидели и смотрели на огонь, который теперь горел ровно, спокойно, сине-голубым, как будто пел, — и на небе, над их головами, над перевалом, свет медленно растворялся, растворялся в ночи, в тумане, во сне, и гора засыпала, удовлетворённая.

Они не знали, что умрут.

Они знали, что им тепло.

Наутро их найдут у кедра почти раздетыми. Это будет стоять в актах, это будет мучить следователей, это будут объяснять десятками версий — от покушения до кошмара, — а объяснение было до унижительного простым: им было жарко. Умирая от холода, им было жарко. Каждому из них казалось, что это не мороз, а печка, что не выюга, а жар костра, что стоит снять куртку, снять свитер, снять всё — и станет легче.

Юра Дорошенко снял свитер первым. Он снял его небрежно, как снимают вещь, которая мешает, и бросил на снег, и сел рядом с костром, и протянул руки к пламени, и улыбался. Он улыбался той улыбкой, какая бывает у человека, который действительно согрелся, — и это было страшнее любого крика.

— Жарко, — сказал он. — Вот теперь жарко.

Кривонищенко снял куртку и положил её под себя, как подстилку. Он был инженером, он привык к порядку, и он уложил одежду аккуратно, рядком, как вещи в чемодан, и лёг на неё, и подтянул к подбородку то, что осталось, и сказал что-то смешное — он всегда говорил смешное, это было его обыкновение, его маска, его дар, — и засмеялся. Смех у него был звонкий, молодой, счастливый.

Они лежали вдвоём, под одним одеялом, которое кто-то снял с себя и накрыл ими — накинул сверху, как накрывают спящих, — и одеяло это, походное, суконное, пахнущее домом, лежало на них, и под ним они были почти раздеты, и им было жарко, и они лежали тихо, нога к ноге, плечо к плечу, как лежат люди, которым больше не надо ничего друг от друга.

Люда Дубинина сидела у огня дольше всех. Она сидела прямо, как сидят у костра в последний вечер похода, — и гладила плёнку, которую вынула из фотоаппарата, и пересчи-

тивала кадры, и улыбалась чему-то, что видела только она. Потом она встала — медленно, с достоинством, — и пошла туда, где ниже по склону журчал подо льдом ручей, потому что ей показалось, что там теплее, там, у воды, всегда теплее, — и ушла, и не вернулась, и её найдут только в мае, в овраге, под четырёхметровым слоем снега, с переломанными рёбрами и с отсутствующим языком, и это будет самая страшная загадка из всех, потому что переломы рёбер без повреждения кожи не бывают ни при падении, ни при лавине, — а они были.

Саша Колеватов сидел рядом с Николаем Тибо-Бриньоле. Они не сказали друг другу ни слова — просто сидели плечом к плечу и смотрели на огонь. Трубка Саши давно погасла, а он всё держал её в зубах, потому что некуда было её девать и не хотелось выпускать изо рта последнее, что оставалось от привычного, от тёплого.

Потом Саша уронил трубку. Она упала в снег, и он не нагнулся за ней, и это было первое движение, которое он сделал неправильно, — он, педантичный, аккуратный, методичный до смешного Саша, который всю жизнь делал всё правильно, — и по тому, как он не нагнулся за трубкой, Зина поняла всё.

— Вставайте, — сказала она.

Голос её был негромкий, но прорезал ночь, как нож. — Вставайте, все. Мы возвращаемся в палатку. Там одежда. Там одеяла. Там тепло. Вставайте.

Она поднялась первой. Она была маленькая, лёгкая, быстрая, и в ней была та сила, ради которой Игорь любил её и ради которой звал в походы: она не умела сдаваться. Она умела держаться. И она держалась — она встала, повернулась к склону, к палатке, к белому пятну наверху, к тому месту, где они разрезали брезент и вышли в ночь, — и пошла вверх. Пошла по линии, соединяющей кедр и палатку, по той самой линии, по которой через двадцать пять дней найдут сначала её, потом Рустема, потом Игоря, — пошла, потому что хотела принести Люде одеяло, хотела, чтобы Люда не мёрзла, хотела, чтобы все не мёрзли, — и поднималась, и поднималась по вязкому снегу, без обуви, в шерстяных носках, в свитере, надетом на ночную рубашку, — и на полпути, в восьмистах метрах от палатки, упала лицом вперёд, в снег, и лежала, и дышала всё реже, всё тише, и снег под её щекой таял от последнего тепла дыхания, и кровь — из носа, из лопнувших от мороза капилляров — окрасила снег у её лица, и через три недели спасатель найдёт её по гладкому пятну на снегу и по неподвижности, и собака по кличке Альма уткнётся носом в снег в десяти сантиметрах под которым будет лежать Зина Колмогорова.

Игорь пошёл за ней.

Он не мог не пойти за ней. Он шёл по её следу — по той же линии, по тем же ямкам в снегу, которые выбила её лёгкая бегущая нога, — и видел её спину, её тёмные волосы, её развевающийся на морозе свитер, и звал её, и не слышал своего голоса, потому что горло перехватило, и ветер — оглушительный, белый, кружащийся ветер, поднявшийся ниоткуда, из ночи, из перевала, — бил ему в лицо, и он шёл, и шёл, и видел, как она падает, — видел, — и рванулся, и упал на колени рядом с ней, и поднял её голову, и увидел её лицо — спокойное, красивое, замёрзшее, с кровью у носа, с улыбкой, — и понял, что она ушла, что её нет, что она ушла тёплой, что она ушла, думая, что идёт за одеялом для Люды.

Он сел рядом.

Он держал её за руку — мёрзлую, лёгкую, дорогую до боли руку, — и сидел, и смотрел на палатку наверху, на белую точку, до которой оставалось триста метров по прямой, и не шёл к ней. Он не мог оставить Зину. Он не мог унести Зину. Он не мог ничего, кроме как сидеть и держать её за руку, и это было всё, что он умел в эту ночь, — и это было достаточно.

Его найдут двадцать седьмого февраля, охотником-манси, который заметит из-под снега голову и плечо. Игорь Дятлов будет полусидеть, обхватив ствол молодой берёзки, — маленькой, тонкой, неровной, на линии, соединяющей палатку и кедр, в трёхстах метрах от кедра, — и лицо его будет спокойным, а руки — сведёнными вокруг ствола, как будто он обнимал это

дерево, как обнимают человека, и никто не объяснит, зачем он обнимал берёзу, маленькую, мёрзлую, бесполезную, когда в трёхстах метрах вверх была палатка с одеялами и валенками.

Он не пошёл в палатку. Он не пошёл к палатке. Он сидел у берёзы и держал за руку Зину, и ему было жарко, и это последнее, что запомнил Игорь Дятлов в ту ночь, — тепло её руки, тепло её имени, тепло, которое оказалось сильнее мороза, потому что мёрзнуть можно в тепле, а любить — только на холоде, и он выбрал. Он выбрал. Инженер, человек чисел и схем, человек, который рассчитывал маршруты и веса рюкзаков, он сделал свой единственный расчёт, который никогда не сможет проверить, — и выбрал, где умереть.

Рустем Слободин не пошёл к палатке. Он не пошёл и к кедр. Он лёг на склон — ровно, на ровном месте, как ложатся на гимнастике, — в полуметровой яме, которую сам выбил в снегу, и дышал, дышал, дышал, и дыхание его выплавляло во льду яму, и он дышал до последней секунды, по-инженерному методично, сберегая тепло, рассчитывая силы, делая всё правильно, — и умер, не успев понять, почему правильно не помогло. Его найдут пятого марта, под полуметровым слоем снега, с ледяной маской у лица — той самой ямой, которую выплавляло его дыхание, — и с одной ногой в валенке: он успел надеть один валенок, один, перед тем как лёг, сберегая последнее тепло, — и это будет одна из самых невыносимых деталей во всём деле: один валенок, надетый на одну ногу, на ту, которую он успел согреть, — потому что он не успел надеть второй.

А внизу, у кедр, у догорающего костра, остались четверо.

Семён Золотарев сидел у огня и смотрел на пламя. Он был фронтовик, он видел смерть, он носил её в кармане, как носил орден, — и он не удивлялся. Он знал, что умирать надо так, как служил: спокойно, прямо, не торопясь. Он снял с руки часы и положил их перед собой на снег, и смотрел, как идёт секундная стрелка, и считал. Он считал, сколько осталось тепла. Он считал, сколько осталось жизни. Он считал за всех — потому что он был старшим, потому что он был солдатом, потому что он никогда не учился умирать, но всю жизнь учился жить так, чтобы смерть не застала его врасплох.

Он дождался, пока стрелка сделает круг.

Потом он лёг на спину, у костра, у самого тепла, вытянувшись, как на плацу, — и стал смотреть на луну. На луну, а не на перевал. Он не смотрел на перевал — он знал, что там, на перевале, смотрит она, та, что ждала, и он не хотел давать ей этого: своего взгляда. Он смотрел на луну, потому что луна — это холод, это не она, это просто ночь, просто свет, просто равнодушие, и с равнодушием он умел говорить. Всю жизнь учился.

Найдут его в мае. Он будет лежать в овраге, в четырёх метрах под снегом, рядом с Людой Дубининой, и у него будет сломано шесть рёбер — шесть, без единой царапины на коже, — и на левой руке его будет след, который судмедэксперт напишет в заключении как «неизвестное повреждение»: отпечаток, похожий на знак, на печать, на то, что великая холодная ладонь опускалась на его руку — не чтобы взять, а чтобы пометить. И еще не хватало одного глаза, и никто не объяснит, куда делся глаз, потому что зверь не тронул ни его, ни Люду, ни их одежду, — а глаз не было.

Костёр умер.

Это было последнее, что увидели четверо у кедр: как синее, холодное пламя — то, что ещё горело, то, что они подкармливали сухими ветками и своей собственной одеждой, — легло, вздрогнуло, затрещало и угасло, и тьма сомкнулась над ними, как вода над утопленником, и осталась только луна.

Они лежали у кедр. Они лежали на ветках, которые наломали с кровью, на одежде, которую сняли, потому что им было жарко. Они лежали, как лежат люди, которых больше не мучает ничто, — и снег шёл, и укрывал их, и укрывал их выше, и выше, и выше, бережно, как одеялом, и ветер приглаживал снег, и гора принимала их в себя, как принимала всех.

А над ними, над кедром, над палаткой, над склоном, всю ночь стояла тишина, когда умирал от холода, — потому что холод, настоящий, жестокий, лютый холод, накрыл их не сразу, а исподволь, когда страх ушёл, когда адреналин кончился, когда тело перестало дрожать и начало медленно, вязко, как засыпающая вода, замерзать. Это последнее, что запомнила Зина, когда шла обратно к палатке, по линии, соединяющей кедр и палатку, шла, чтобы найти для Люды что-нибудь тёплое, и упала лицом в снег в восьмистах метрах от палатки, и лежала, дыша всё реже, всё тише, пока снег под её щекой не растаял от последнего тепла дыхания. Это последнее, что запомнил Рустем, когда лёг в полуметре снега и дышал, дышал, дышал, пока не выплавил себе во льду дыхательную яму, до последней секунды по-инженерному действуя правильно, — и умер, не успев понять, почему правильно — не помогло.

А над ними, над кедром, над палаткой, над склоном, всю ночь стояла тишина — та самая, огромная, мирная, любимая Игорева тишина, — и гора хранила их, как хранят, и ждала, когда весна обнажит её клад, потому что гора никогда не спешит, гора умеет ждать.

В четыре утра второго февраля свет угас. Костёр у кедр истлел, и ветер разнёс тепло, и снег пошёл — спокойный, ровный, густой, — и заметал следы, и заметал их, и укрывал их выше и выше, бережно, как одеялом.

Над Холатчахлем поднялась луна.

Она видела всё.

Она будет видеть всё: февральские лыжни поисковиков, майские находки в овраге, годы молчания и людей, которые будут приезжать к горе, чтобы понять, — и тех, кто приедет просто стоять.

Она видела, как в палатке, разрезанной изнутри, в жестяной коробке из-под монпансье лежали документы Игоря Дятлова — билеты, деньги, маршрутные листы — и как от коробки этой, такой маленькой и такой человеческой, тянулся по снегу след босой ноги, уходящий вниз, к лесу.

Восемь следов. Девятый — невидимый.

Или всё-таки видимый, если знать, куда смотреть: на снегу у палатки, там, где заканчивались следы, — широкая борозда, ровная, как от волочения тяжёлого груза, но груза не было, и никто никогда не объяснит эту борозду, потому что весной её размочит талая вода, и не останется ничего.

Кроме памяти.

Память остаётся. Память — это единственное, что гора не отдаёт, даже когда отдаёт своих мёртвых. Память остаётся в камнях, в следах, в фотографиях, на которых девять молодых людей смеются, ещё не зная, что их лица будут узнавать шестьдесят лет подряд. Память остаётся в морозном узоры на стёклах, в низком гуле зимней ночи, в том чувстве, которое приходит к человеку на этом склоне без всякой причины: что под ногами — не снег, а что-то более древнее и более тёплое, чем снег.

Память остаётся во мне. Потому что я — лёд, который помнит. Я — иней на стекле. Я — та, которую вы называете Холатчахль, Гора Мёртвых, Холод, Томтэ-Аква, — и я не злая, и я не добрая, и я не буду оправдываться: я просто очень, очень старая и очень, очень долго помню. Я помню всех, кто приходил ко мне тёплым. Я помню их имена, их дыхание, их последние сны. Я помню тех девятих, которые пришли ко мне в ночь первого февраля, и я сберегу их память — всю, до последней нитки — для того, кто когда-нибудь придёт и попросит.

А пока — слушай.

Девять дыханий.

Это было в семнадцать часов двадцать минут первого февраля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года.

Это было задолго до того, как в Ивдель приехали спасатели, задолго до того, как в Свердловске открыли уже закрытое дело, задолго до того, как инженер, которого звали Анатолий

Кротов, впервые услышал это имя — Дятлов — в коридоре секретного института и остановился, потому что рука его вдруг стала холодной.

Но это уже — другая история.

Это история о девяти, о горе, о холоде и о том, как холод помнит, а тепло возвращается. Начнём.

ГЛАВА 1. ПРОПАВШИЕ

«Зима в тот год была длинная, как война.» — из дневника свердловского метеоролога, 1959

17 февраля 1959 года. Свердловск, улица Ленина

Анатолий Кротов шёл по коридору секретного института, и снег, налипший на подмётки, таял, и оставлял на кафеле холодный след, который тянулся за ним от самой двери — длинный, мокрый, бесшумный, как будто кто-то невидимый шёл у него за спиной и дышал в затылок.

Это было ощущение, от которого он не мог избавиться вот уже три дня. Три дня, как в коридоре, в этом длинном, гулком, стерильно-зелёном коридоре режимного объекта, прозвучало имя, которое он запретил себе произносить.

Он остановился у окна. За стеклом, в синей вечерней мути, лежал Свердловск — город заводов, труб, проспектов, студенческих общежитий; город, который он любил так, как любят мать, которую давно не видели, — и боялся так, как боялся только одного места на земле. Он привык не думать об этом. Он был инженером-радиофизиком, сотрудником закрытого института, «почтового ящика 6602», который занимался приборами, каких не было на прилавках магазинов, и людьми, о которых не писали в газетах. Он привык к тому, что мир делится на то, что можно обсуждать, и на то, о чём молчат. К тридцати годам — нет, ему было двадцать шесть, но казалось, что тридцать, — он научился молчать хорошо. Он научился жить рядом с секретом, как живут рядом с электрической подстанцией: знают, что там гудит, знают, что туда нельзя, и не думают об этом.

Но три дня назад в коридоре он услышал имя.

— Дятлов, — сказал кто-то за его спиной, и сердце его упало куда-то вниз, в живот, в колени, — и он остановился, и не обернулся сразу, а постоял, дожидаясь, пока лицо примет обычное выражение, и только потом повернулся.

За его спиной стояли двое: начальник отдела, полковник в отставке по фамилии Светловидов, и незнакомый человек в штатском, с лицом человека, который привык, что ему не задают вопросов. Они говорили вполголоса. Кротов уловил обрывок: «...группа, из УПИ, спортивный клуб... маршрут не подтверждён... который час...» — и увидел, как человек в штатском покачал головой. Он не услышал больше ничего. Но имя он услышал. Имя, которое он запретил себе произносить два года назад — нет, полтора, нет, считать он разучился, — имя, которое однажды, в ночь, о которой он не рассказывал никому, оказалось связано с тем местом, о котором он не рассказывал никому.

Холатчахль.

Он не знал, сколько простоял у окна. Снег шёл, крупный, ровный, спокойный, как идёт снег в феврале, когда зима уже не злится, а просто тянет своё, длинное, как война. Из окна было видно, как по проспекту идут студенты — парочка, девушка в красной шапке, двое парней с лыжами на плече. Лыжи. Кротов вздрогнул и заставил себя смотреть в другую сторону.

Он попробовал вернуться к работе. В его кабинете стоял стол, заваленный схемами, — он проектировал усилитель для спецсвязи, маленькую коробочку, которая должна была работать на морозе под тридцать градусов, в горах, в любых условиях, — и он смотрел на схемы, и видел не схемы, а белый склон, и не мог отогнать, и снова смотрел, и снова видел. Он включил репродуктор — там играла музыка, что-то весёлое, маршевое, про счастливую молодёжь, — и выключил. Он взял папиросу, прикурил, затянулся, и рука его — та самая, ледяная, — дрожала.

К концу дня он принял решение.

Вечером он не поехал домой. Он поехал в УПИ.

Это было глупо. Он знал, что это глупо. Он не имел отношения к туристическому клубу, он окончил другой вуз, он мог бы завтра проснуться и забыть, что слышал это имя, — мог бы, если бы мог. Но рука его на сиденье трамвая, на поручне, на подлокотнике — рука, которой он держал трубку телефона, которая держала карандаш, — вдруг стала холодной, как лёд, и не отогревалась, сколько он ни растирал её, и он понял, что не сможет спать, пока не увидит того, кто знает, что случилось.

Трамвай вёз его через весь город. Свердловск в феврале пятьдесят девятого — это город, который готовился к съезду партии: витрины, лозунги, портреты, транспаранты «Пятилетку — досрочно!», и среди этой парадной суеты — обычная жизнь: очереди за хлебом, замёрзшие трубы, мальчишки с санками, старушки у подъездов. Город жил. Город не знал, что где-то на севере, за триста пятьдесят километров, за горами, за лесами, пропали девять человек, и что это уже не туристическое происшествие, а беда.

УПИ — Уральский политехнический институт — стоял на главном проспекте, огромный, серый, со множеством корпусов, с главным зданием, похожим на башню, и у входа толпились студенты: кто с конспектами, кто с лыжами — в институте была сильная туристическая секция, и по вечерам из спортклуба доносился запах лыжной мази и смех. Кротов постоял у входа, собираясь с духом, и вошёл.

Ему понадобилось двадцать минут, чтобы найти спортклуб. Он не спрашивал у прохожих, как его найти, — он просто шёл, как идут во сне, по памяти, по запаху, по звуку, и ноги сами привели его в подвал главного корпуса, к двери с табличкой «Спортклуб». Он толкнул дверь.

Внутри былолюдно и тревожно.

Комната была длинная, с выгоревшими знамёнами на стенах, с доской почёта, с деревянными скамейками, с запахом лыжной мази, табака и молодости — того особого запаха, какой бывает только в студенческих клубах, где люди занимаются делом всей своей жизни. Но сегодня в этом запахе было что-то новое — то, что Кротов узнал сразу, потому что за полтора года не мог не узнать: запах тревоги. Студенты стояли группами, переговаривались вполголоса, и в этих голосах, в этих быстрых, отрывистых фразах — «срок сдачи — четырнадцатого... четырнадцатого прошло... телеграмму видели?... какую телеграмму?» — была та самая нота, которая не спутается ни с чем.

Кротов узнал картину с полуслова. В походах УПИ так бывало: группа задержалась, и спортклуб волнуется, звонит, сверяет сроки, — и почти всегда всё кончалось хорошо. Почти всегда. Но здесь было другое: в глазах у людей стоял не обычный туристический азарт, а то тихое, тягучее беспокойство, какое бывает, когда ждут вестей с фронта, — и Кротов, стоя в дверях, почувствовал, как в комнате, в этом тёплом подвале среди знамён и лыж, повис холод.

Он поймал за локоть парня с повязкой дежурного.

— Что случилось?

— Группа Дятлова не вышла на связь. Срок — четырнадцатое. Уже семнадцатое. — Парень говорил быстро, зло, как будто выплёвывал слова. — Ищут. Сегодня собрание, сказали, будут искать.

— Дятлов... — сказал Кротов вслух, и имя прозвучало тяжело, как ком снега. — Игорь Дятлов. Радиотехнический.

Парень поднял голову, посмотрел на него внимательно:

— Вы из института?

— Я знакомый. Старый. — Кротов помолчал, подбирая слова, которые не звучали бы ложью. — Он делал приёмники. Я его знаю.

Парень кивнул, уже теряя интерес, и побежал к своим. Кротов остался стоять, и теперь он уже не мог уйти: он должен был узнать всё, что знают эти люди, и ещё чуть больше, чем знают они.

Он не сел. Он стоял у стены, у доски почёта, где среди чёрно-белых фотографий — вершины, снег, улыбающиеся лица — висела карта, пересечённая красной линией, с кружками стоянок и с надписью в углу: «Поход XXI съезда КПСС. Лыжный переход III категории. Свердловск — Ивдель — Отортен — Вижай». Он читал эту карту, как читают письмо: она рассказывала ему о том, что случилось, больше, чем могли рассказать люди. Маршрут: двадцать третьего января — выезд из Свердловска; двадцать четвёртого — Ивдель; двадцать шестого — посёлок 41-го квартала; двадцать седьмого — Второй Северный рудник, заброшенный, с одним уцелевшим домом; двадцать восьмого — прощание с Юдиным, который заболел и вернулся; дальше — девять человек, лыжи, река Ауспия, хребет, Отортен, и крайняя отметка — первое февраля, склон горы 1079, вечер.

Он стоял и смотрел на карту, и вдруг увидел то, от чего у него замерло сердце: на карте, у отметки горы 1079, чьей-то рукой — не туриста, а того, кто наносил маршрут заранее, — было мелко, карандашом, выведено в скобках старое название, под которым гора эта значилась на старых картах: Холатчахль. Гора Мёртвых.

Он перевёл дыхание. Рука его была ледяной.

— Товарищ Кротов?

Он обернулся. Сзади стояла девушка — невысокая, худенькая, в тёплом платке, с глазами, красными от бессонницы. На вид ей было чуть за двадцать, но глаза у неё были не молодые — глаза человека, который уже похоронил и не хочет хоронить снова.

— Да, я Кротов. А вы...?

— Римма. Римма Колеватова. Я сестра Александра Колеватова. Он в группе. Понимаете, в той группе, что пропала.

Кротов сглотнул.

— Я... я знаю эту группу. Не лично. Но я знал бывшего... Игоря Дятлова. Давно. В радиокружке.

Римма посмотрела на него так, как смотрят на человека, который может помочь, — с отчаянной, голодной надеждой.

— Вы знаете Игоря? — переспросила она, и голос её дрогнул. — Хорошо. Тогда вы поймёте. Игорь не мог пропасть просто так. Он такой... аккуратный. Он бы предупредил. Он всегда предупреждал. В позапрошлом году, в походе по Саянам, у них была рация, он сам собрал, он связывался с другой группой, он всегда... — она всхлипнула. — А теперь — вот. Ничего. И телефон молчит, и мама звонила в спортклуб, и там говорят — «ищем, ждите», а сами...

— А сами ничего не знают, — договорил Кротов тихо.

Она кивнула, и по лицу её побежали слёзы, которые она не стала утирать — сил не было.

— Я всё думаю: что мы могли сделать? Они уехали двадцать третьего, мы их проводили. Саша смеялся, кричал с перрона: «Вернусь четырнадцатого, торт купите!» Четырнадцатого торт купили. А он не вернулся. И теперь я... я не знаю, что делать. Я не могу просто сидеть и ждать.

Кротов почувствовал, как внутри него, под рёбрами, что-то сжалось — тяжёлое, тёплое, живое, — то, что он старался не выпускать наружу: сострадание. Он давно не позволял себе сострадать — в его работе сострадание было роскошью. Но сейчас он позволил.

— Вы можете сделать вот что, — сказал он. — Если у вас есть что-нибудь, что говорит о маршруте, — карта, записи, письма Саши, — принесите их в штаб. Поисковикам нужна любая зацепка. Кто-то должен восстановить маршрут по памяти.

— Я помню всё, — сказала Римма, и в голосе её вдруг появилась твёрдость. — Саша мне рассказывал. И я рисовала. Держите.

Она достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула ему. Это была самодельная карта — неровная, в клетку, с реками, горами, кружками стоянок, со стрелками движения и с

надписью, выведенной старательным женским почерком: «По памяти. Римма Колеватова. От слов брата Александра». Кротов развернул её, посмотрел, и сердце его упало: маршрут на этой самодельной карте шёл ровно туда, куда он больше всего боялся идти, — к Холатчаклю.

— Спасибо, — сказал он, пряча лист во внутренний карман. — Я передам это в штаб. Обязательно.

Римма посмотрела ему в глаза:

— Вы поедете?

— Поеду.

— Тогда найдите их, — сказала она, и глаза её, сухие, горящие, смотрели на него так, что в них было видно всё: и страх, и надежда, и то отчаяние, которое бывает только у живых, у тех, кто ещё может ждать. — Найдите их. Хоть как-нибудь. Хоть что-нибудь. Мы должны знать. Мы не можем просто... ждать и не знать.

Кротов ничего не ответил. Он сжал лист в кармане, и бумага хрустнула, и он почувствовал, как тепло её руки — Римминой руки, сестры погибшего — ещё лежит на его ладони, и понял, что теперь он не сможет уйти.

В комнату вошли трое: коренастый человек в военной гимнастёрке без погон — позже Кротов узнает, что это полковник Ортюков, с военной кафедры, — и двое в штатском, вместе с завкафедрой физвоспитания. Они закрыли дверь в дальний кабинет. Из-за двери доносились голоса — негромкие, напряжённые. Через десять минут дверь открылась, и полковник вышел, подошёл к доске с картой района и, не оборачиваясь, спросил:

— Кто из вас лично знаком с Игорем Дятловым?

Кротов шагнул вперёд. Он шагнул бы, даже если бы не хотел: ноги сами понесли его, как несли в феврале пятьдесят седьмого, когда он шёл по этому городу и не мог остановиться.

— Я.

Полковник поднял голову, посмотрел на него цепко, холодно, с той оценивающей внимательностью, какая бывает у людей, привыкших читать людей, как карты.

— Кто вы?

— Анатолий Кротов. Инженер-радиофизик. Я знал Дятлова по радиокружку. Он учил... — Кротов запнулся. — Мы вместе работали над приёмниками. Года три назад. Он отличный радист.

— Что вы знаете о его походах?

Кротов пожал плечами, стараясь, чтобы голос звучал ровно:

— Что он опытный. Что он водил группы на Алтай, на Саяны. Что он собрал рацию и связывался с соседней группой — это былос пятьдесят шестом, в Саянах. Что он всегда аккуратно готовил маршрут.

Полковник кивнул, как будто слышал ровно то, что хотел услышать, и повернулся к карте:

— Тогда считайте, что вы нам нужны. Смотрите: маршрут. Двадцать третьего января вышли из Свердловска. Ночь с двадцать четвёртого на двадцать пятое — в Ивделе, вокзал. Двадцать шестого — посёлок 41-го квартала, ночёвка в общежитии лесозаготовителей. Двадцать седьмого — переход на Второй Северный рудник, это уже заброшенный посёлок, бывший лагерный, там остался один целый дом — вот в нём ночевали. Двадцать восьмого утром с ними прощается Юдин — он заболел, радикулит, вернулся на попутке в 41-й квартал — и группа уходит в горы уже в девять человек. Дальше — только их собственные следы и костровища. Мы нашли несколько стоянок. Последняя — на реке Ауспии, это приток Лозьвы, тридцать первого января. Они там оборудовали лабаз, повесили на дерево продукты, чтобы облегчить рюкзаки для восхождения на Отортен. Дальше — следы поднимаются в горы. И всё.

Полковник замолчал, и в комнате стало тихо. Кто-то шмыгнул носом. Кто-то кашлянул.

— А теперь смотрите сюда, — сказал полковник, и палец его упёрся в карту, в серую отметку высоты, под которой мелко было вписано карандашом: «1079». — Первого февраля

вечером они поставили палатку здесь, на склоне этой горы. Палатку мы нашли. Её не снесло, она стояла. Но в ней никого нет. Люди разрезали палатку изнутри, вышли на мороз, без тёплой одежды, и ушли вниз, к лесу. Там их тела. Больше мы ничего не знаем.

Кротов почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Он не услышал половину того, что полковник сказал потом — про группы, про самолёты, про технику, — он слышал только одно: «Люди разрезали палатку изнутри, вышли на мороз, без тёплой одежды, и ушли вниз, к лесу».

Разрезали изнутри.

Это было то, о чём он молчал полтора года. Это было то, что он видел тогда, в пятьдесят седьмом, — то, что делают люди, когда не могут больше оставаться внутри, когда что-то гонит их наружу, когда страх сильнее рассудка, сильнее мороза, сильнее инстинкта самосохранения.

Он молчал. Он стоял посреди комнаты, слушал, и молчал, и рука его леденела.

— Первый вопрос, — сказал полковник, обводя взглядом комнату. — Второго февраля они погибли или после? Тела ещё не нашли. Может быть, часть ещё жива. Мы ищем живых. Второй вопрос: что их заставило выйти из палатки в мороз, в ночь, без одежды? Кто-нибудь знает, что там было? Что за место — эта гора?

В комнате заговорили все сразу: охотники, туристы, солдаты — каждый со своей версией. Кто-то говорил про браконьеров из числа ссыльных, кто-то про беглых эков, которых полно в этих лесах, кто-то про медведя-шатуна, который мог выпороть зверя из спячки и напасть на спящих, кто-то про то, что в этих краях, ещё с Ивдельлага, полно «нежелательных элементов». Полковник слушал, не перебивая, и по лицу его было видно, что ни одна версия его не убеждает.

— А вы что думаете, товарищ Кротов? — спросил он вдруг.

Кротов почувствовал, как все взгляды упёрлись в него. Он сглотнул, собрался, и сказал — не то, что думал, а то, что мог сказать:

— Я думаю, что искать людей надо там, где они были, а не там, где мы думаем, что они могли быть. Если они вышли из палатки и пошли вниз, к лесу, значит, они пошли туда за чем-то. Может быть, за дровами. Может быть, за помощью. Может быть, они хотели развести костёр. Если так — их надо искать у леса, у кромки, туда, куда ведут следы.

— Правильно мыслите, — сказал полковник, и в глазах его мелькнуло что-то похожее на уважение. — Мы так и сделаем. Группы пойдут по следам от палатки вниз, к лесу. Они обязательно что-нибудь найдут.

Он повернулся к карте, и Кротов понял, что разговор окончен. Но он не мог уйти, не спросив.

— Товарищ полковник, — сказал он. — Можно мне в одну из групп?

Полковник обернулся, посмотрел на него долго, внимательно:

— Вы инженер, Кротов. У вас работа. Зачем вам это?

Кротов промолчал секунду, подбирая слова. Потом сказал:

— Я знал человека, который был на этой горе. До них. В пятьдесят седьмом. В феврале.

В комнате стало тихо — так тихо, что было слышно, как за окном скрипит снег под чьими-то шагами.

— Что значит «был»? — спросил полковник, и голос его стал жёстче.

— Был. Ходил туда. С группой. Я помню, что про это место говорят. И я, — Кротов сглотнул, — я хочу быть там. Когда их найдут.

Полковник смотрел на него ещё секунду, потом кивнул:

— Поработаете в штабе. Полезен будете и здесь. Ступайте, товарищ Кротов. Завтра доложите в штаб поисковой операции — найдёте в спортклубе.

Кротов вышел из комнаты, и за его спиной дверь закрылась, отрезав гул голосов. Он стоял в тёмном коридоре, у стены, и дышал, и думал, что он только что перешёл какую-то черту, за которой уже не будет пути назад.

Он не пошёл домой. Он пошёл в библиотеку института, нашёл в справочнике атлас Урала, раскрыл его на развороте, где север Свердловской области лежал голым, белым, пустым — реки, горы, названия, которых нет на обычных картах, — и сел, и смотрел на этот разворот, и не мог оторваться, и рука его, лежавшая на атласе, холодела, и холодела, и холодела, пока не сделалась как лёд, и он подумал то, о чём думал каждую ночь уже два года: «Зачем я молчал. Зачем я тогда молчал».

Но прежде чем лечь и считать, он сделал ещё одно дело — то, что должен был сделать, чтобы заснуть.

Он разыскал Юдина.

Юрий Юдин — тот самый, кто ушёл из группы двадцать восьмого января, кто простился с девятью товарищами у Второго Северного, кто сел на попутку с возницей-литовцем и вернулся в посёлок 41-го квартала, — Юрий был теперь в Свердловске, вернулся в институт, и Кротов нашёл его в общежитии, в комнате на четырнадцать квадратных метров, где на стене висел вымпел «Победителю соревнований» и стоял чемодан с лыжными ботинками.

Юдин был молодой, худой, с усталым лицом и красными от бессонницы глазами. Он был единственным живым свидетелем последних часов группы, и он нёс это бремя, как человек нёс бы горящую лампу: осторожно, ни на секунду не выпуская из рук.

— Я всё рассказал, — сказал он, когда Кротов представился. — Всё, что помню. Спрашивайте.

— Расскажите мне, — попросил Кротов, — как они уходили.

Юдин закрыл глаза, и Кротов увидел, как на лице его появилось то выражение, какое бывает у человека, который пересматривает один и тот же кадр, один и тот же миг, сотни раз, в надежде узнать что-то новое.

— Двадцать восьмого утром. — сказал Юдин. — Стояли у дома, у того единственного целого дома во Втором Северном. Мороз был, градусов двадцать пять. Солнце — низко, белое, как прожектор. Они вышли — все девять, — и стали прощаться. Девушки смеялись, махали руками. Саша Колеватов... — голос его дрогнул, — ...он крикнул: «Не скучай, Юрка! Лови нас в Отортене!» Игорь подошёл ко мне, пожал руку, посмотрел в глаза — вот так, по-взрослому, — и сказал: «Если задержимся, не жди раньше четырнадцатого. Передай в спортклуб, чтобы зря не беспокоились». Я сказал: «Передам». А теперь... — Юдин сглотнул. — А теперь я сижу здесь и думаю: почему он сказал «если задержимся»? Он ведь никогда не задерживался. Он всегда приходил точно в срок. Он был такой... — Юдин поискал слово, — ...точный. Как часы.

Кротов молчал. Он слушал и молчал, и рука его леденела.

— А что ещё? — спросил он. — Как они были настроены? Весело? Тревожно?

— Весело, — сказал Юдин, и в голосе его послышалась горечь. — Они были весёлые. Зина пела. Люда фотографировала. Рустем сказал какую-то шутку — я не помню какую, все смеялись. Золотарев... — Юдин запнулся, — ...он стоял в стороне, не смеялся. Я запомнил: он стоял в стороне и смотрел на гору. На ту гору, куда они шли. И взгляд у него был какой-то... прощающий. Как будто он знал, что больше не вернётся. Я тогда подумал: старый человек, чего ему бояться, он войну прошёл. А теперь я думаю иначе. Теперь я думаю, что он знал.

— Что знал? — тихо спросил Кротов.

— Не знаю. — Юдин покачал головой. — То ли о горе, то ли о себе. Я не знаю. Я знаю только, что я больше никогда его не видел.

Кротов сидел напротив него, на табуретке, в тесной комнате общежития, и чувствовал, как холод, который не отогревался, разливается по всему телу. Он знал теперь то, чего не знал час назад: не просто факты — свидетеля он теперь видел своими глазами, — он знал, что в

этом походе было что-то, что ощущал даже тот, кто ушёл первым, что все они — и Юдин, и Золотарев, и сам Игорь — чувствовали, что идут навстречу чему-то, что не укладывается в понятия «маршрут» и «погода».

— Спасибо, — сказал он, поднимаясь. — Вы очень помогли.

— Помог? — Юдин горько усмехнулся. — Я им помочь хотел, а не вам. Я всю жизнь теперь буду думать — что я мог сделать. Ведь я мог остаться. Я мог пойти с ними. У меня был радикулит, я не мог идти быстро, но я мог пойти. А я сел в эти сани, на эту попутку, и уехал. И вот они... — он замолчал и посмотрел на Кротова, и в глазах его стояли слёзы. — Найдите их, товарищ Кротов. Хоть что-нибудь. Хоть весточку. Родители с ума сходят.

— Найдём, — сказал Кротов, и сам не знал, откуда в нём взялась эта уверенность, эта твёрдость, это обещание, которое он не имел права давать. — Найдём. Я обещаю.

Он вышел из общежития в ночь, в синий, морозный, звёздный воздух, и пошёл по улице, и думал, и не мог остановиться думать. Он думал о Золотареве, который стоял в стороне и смотрел на гору с прощающим взглядом. Он думал об Игоре, который сказал «не жди раньше четырнадцатого» — и положил в коробку обратные билеты именно на четырнадцатое. Он думал о том, что в этом походе было что-то, что знали все — все девять, — но никто не сказал вслух. И он, Кротов, который не был в этом походе, который видел эту гору только один раз, в пятьдесят седьмом, — он знал, что это было.

Это была гора.

Он вернулся домой, не помня дороги. Он помнил, как лежал на кровати в темноте, не зажигая света, и смотрел в потолок, и считал, и считал, и считал — дни, ночи, часы, которые можно было бы подарить тем, кого уже не вернуть, — и как рука его, ледяная рука, лежала поверх одеяла, и он думал: «Если я уеду завтра, я не успею. Если я уеду послезавтра, я не успею. Если я не уеду никогда, я не прощу себя никогда».

Наутро он позвонил на работу и сказал, что болен.

Он не был болен. Он был здоров, как никогда, — собран, ясен, твёрд, — и впервые за долгое время он знал, что делать. Он достал со дна шкафа старый рюкзак — тот самый, с которым ходил в горы пять лет назад, — и вытряхнул из него пыль, и стал собирать вещи, и руки его двигались ровно, спокойно, как будто делали это вчера: свитер, штормовой костюм, сухари, спички, нож, аптечка. Он собирался не на работу, не в отпуск. Он собирался туда, где не был два года, — туда, куда поклялся никогда не возвращаться.

Холатчахль.

Он говорил себе, что едет спасать, что девять человек его друга — нет, не друга, он не смел даже называть Игоря другом, — что девять человек ждут помощи, что там, на горе, в мороз, в ночи, лежат сейчас, быть может, ещё живые люди, и только он, Кротов, знает, что гора эта — не просто гора, и что искать надо не под снегом, а...

Нет. Он не знал, где искать. Он знал только одно: он должен быть там. Должен был быть там ещё два года назад. Должен был быть там в ту ночь, когда стоял на этой горе и видел, как из тьмы поднимается свет, и молчал, потому что был молод и глуп и не понял, что видел, — а теперь, когда он понял, было уже поздно, и всё, что ему оставалось, — это ехать и смотреть, и считать, и помнить.

Он собрал рюкзак за сорок минут.

Потом он сел на пол, рядом с рюкзаком, и заплакал — коротко, зло, один раз, спрятав лицо в ладони, — и встал, и вытер лицо, и вышел из дома, потому что день был только начавшийся и впереди у него была дорога.

Перед выходом он задержался у двери, обернулся на комнату — на стол со схемами, на кровать, на холодное окно, — и подумал о том, что, может быть, больше никогда сюда не вернётся. Эта мысль не испугала его. Она показалась ему естественной, как будто он всегда знал, что однажды кончит вот так: соберёт рюкзак, закроет дверь и уйдёт туда, где лежит гора. Он

взял с вешалки старую меховую шапку — ту, в которой ходил тогда, в пятьдесят седьмом, — и надел её, и почувствовал, как холодная, слежавшаяся шерсть касается лба, и это прикосновение, это воспоминание, было как рукопожатие с кем-то, кого он давно не видел.

Он вышел. На улице было морозно, солнечно, бело; снег скрипел под ногами, как крахмал; город готовился к празднику: к двадцать первому съезду партии, к весне, к жизни. Кротов шёл по этой улице среди живых, среди тех, кто не знал, — и чувствовал себя чужим, как человек, который пришёл с войны: он слышал другие звуки, он видел другие цвета, он нёс внутри себя тот гул, который не слышал никто другой.

Он купил билет на Ивдель.

Вокзал в тот день был полон: солдаты, студенты, командированные, бабы с корзинами, мужики с мешками, дым, пар, гул, запах дороги. Кротов протолкался к кассе, взял билет до Ивделя, и когда кассирша, глядя на него поверх очков, спросила: «Надолго ли?» — он ответил: «Не знаю». И это «не знаю», сорвавшееся с его губ легко, как дыхание, было правдой, от которой ему стало спокойно.

Он стоял в зале ожидания, у окна, с рюкзаком у ног, и смотрел, как за окном сгущаются синие сумерки, как загораются огни, как снег, розовый от заката, становится фиолетовым, а потом чёрным. Он думал о Римме Колеватовой, которая ждала вестей о брате, и о Юдине, который не мог простить себе попутку, и о девяти, которые лежали там, на горе, — или, может быть, ещё боролись, и звали, и ждали, когда кто-нибудь придёт.

И в этот момент он увидел её.

Она стояла у расписания, в пальто, с чемоданом, и смотрела на билет в своей руке так, как смотрят на вещи, которые невозможно объяснить: с недоумением, с отчаянием, с упорством. У неё было красивое, строгое лицо, лицо человека, привыкшего принимать решения, и тёмные волосы, выбившиеся из-под шапки, и он, сам не зная зачем, остановился рядом и спросил:

— Тоже в Ивдель?

Она подняла голову. Глаза у неё были серые, светлые, очень прямые, и в них стояло то же, что стояло в нём самом: ледяная тревога, спрятанная за спокойствием.

— Да, — сказала она. — В Ивдель. А вы?

— Я тоже.

Он не спросил, кто она. Она не спросила, кто он. Они оба знали: люди с билетами на Ивдель в середине февраля едут по одному делу, и дело это называется одним словом, которое они пока не могли произнести вслух: спасатели.

Они сели в один вагон. Она — у окна, он — через проход. Они не разговаривали вначале — каждый молчал своё, — но когда поезд тронулся, и город поплыл назад, и за окном развернулась белая, пустая, бесконечная ночь, она вдруг сказала, не поворачивая головы:

— Вы знаете, что снег тут не такой, как в городе?

— Какой же?

— Он пахнет. В городе снег — это вода. А тут, за Ивделем, снег — это... — она поискала слово, — ...это лёд, который спит. Запах такой, будто кто-то очень давно здесь живёт, и ему всё равно, кто придёт.

Кротов посмотрел на неё. В профиль, в синем свете вагонной лампы, она была почти красива — нет, она была красива, — но красота её была не той, к которой привыкают глаза: она была изнутри, из спокойствия, из той тихой, твёрдой собранности, которая видна у людей, идущих на своё дело.

— Вы врач? — спросил он.

— Судмедэксперт. — Она сказала это спокойно, без тени смущения. — Меня вызвали. На случай, если понадобится... — она запнулась. — Понимаете, когда пропадают люди зимой в горах, то обычно находят не тех, кого искали. Меня попросили помочь с опознанием, если понадобится.

Она сказала «если понадобится», но оба знали, что это «если» не настоящее, что её вызвали не «на случай», а потому, что уже понадобится — скоро, в любую минуту.

— Это ваш первый такой выезд?

— Нет. Я работала в зоне, на следственных действиях. Я видела... — она замолчала, подбирая слова, и добавила тихо: — Я видела многое. Но это другое. Это я чувствую сердцем.

Она повернулась к нему, и глаза её, серые, прямые, встретились с его глазами.

— А вы кто? Вы не из штаба. Я видела штабных — у них глаза другие. У вас глаза человека, который знает что-то, чего не знает никто.

Кротову стало холодно. Не снаружи — внутри. Он сидел, смотрел на неё, в эти серые глаза, которые видели больше, чем должны были видеть, — и чувствовал, как стена, которую он строил полтора года, рушится, как старый лёд на весенней реке.

— Я тоже был там, — сказал он, и голос его дрогнул. — Два года назад. На той горе. Я видел то, чего не должен был видеть. И я молчал.

Он замолчал, потому что слова кончились, а то, что было внутри, не укладывалось ни в какие слова. Елена — теперь он знал её имя — не спрашивала. Она просто смотрела на него, и в её серых глазах было что-то, чего он не ожидал: понимание.

— Если хотите, — сказала она тихо, — расскажите мне. Потом. Когда будем на месте. Здесь, в вагоне, все спят, и стены, — она чуть улыбнулась, — стены тут не из таких, как в ваших институтах. Расскажите мне всё. Я умею слушать.

Снег шёл за окном. Поезд нёс их на север, в ночь, навстречу горе.

Роман Кротова и Верещагиной не начался на вокзале. Он начался на полтора года раньше, в ту ночь, когда он стоял на Холатчахле и видел свет, и молчал, и не знал, что девочка, которая в эту ночь видела сон про бабушку и гору, через полтора года возьмёт билет на тот же поезд, на ту же станцию, по тому же делу, — и что гора уже знает об этом.

Но это будет потом. А сейчас он просто сидел в вагоне, напротив незнакомой женщины с серыми глазами, и слушал, как перестукивают колёса, и чувствовал под рёбрами тот самый холодный, тяжёлый, тугой ком, который он так долго учился не замечать, — и который теперь разворачивался, рос, звал.

Поезд тронулся в двадцать часов десять минут.

Снег шёл. В окне, за спиной уходящего Свердловска, стояла белая, ровная, бесконечная тьма, и в этой тьме, где-то на севере, за сотни вёрст, лежала гора, и гора ждала, и гора помнила, и гора знала, что он едет.

Анатолий Кротов положил руку на ледяное стекло.

Рука его была тёплая.

Он не знал, последний ли это раз, когда она тёплая.

ГЛАВА 2. ИВДЕЛЬ

«Мы искали не людей. Мы искали тишину.» — из отчёта поисковой группы, март 1959
20 февраля 1959 года. Ивдель

Ивдель встретил их ветром.

Ветер стоял над посёлком, как белый занавес: он дул с севера, с гор, из-за реки, и нёс с собой мелкий, злой, сухой снег, который колот лицо, забивался в воротники, в рукава, в глаза, и нельзя было понять, где небо, а где земля, — всё было одно: белое, движущееся, живое. Посёлок Ивдель — последний город, последний дом, последний свет на пути к горам, — лежал на краю этой белой земли, как зажата в кулаке спичка, и люди в нём ходили по-особенному: быстро, не поднимая головы, как ходят в местах, где зима — не время года, а способ жизни.

Кротов сошёл с поезда в сумерках. Девушка с чемоданом — он узнал её в толпе, серые глаза, решительная походка — шла впереди, к зданию вокзала, к людям с лыжами и картами, к той суматохе, которая на вокзалах Северного Урала всегда означает одно: прибыли спасатели. Он догнал её у двери.

— Вас кто-то встречает?

Она обернулась, не удивляясь, как будто ждала его:

— Не знаю. Сказали, что в штабе решат. А вы? Вы знаете, куда идти?

— Найду.

Она кивнула, как кивают люди, для которых «найду» — нормальный ответ, и вошла внутрь. Он — за ней, и в тот миг, когда они перешагнули порог, в тёплый, гулкий, набитый людьми зал вокзала, — он впервые увидел её лицо в полном свете, и его ударило, как током: не красота — красота была, но дело было не в красоте, — а сходство. В ней было что-то такое, что он не мог назвать, но что заставило его руку — ту самую, ледяную — на мгновение стать тёплой. Он не знал, что это — память, надежда, судьба. Он знал только, что с этой женщиной он должен идти, куда бы она ни шла.

Вокзал в Ивделе был маленький, деревянный, прокопчённый, пахнувший керосином, махоркой и мёрзлой рыбой. Вдоль стен, на деревянных лавках, сидели люди: геологи, лесорубы, солдаты охраны, старухи с мешками. На стене висело расписание, перечёркнутое синим карандашом, и табличка «Приём посылок» под ней. Двадцать четвёртого января, ровно месяц назад, в этом самом зале, в эту самую дверь вошли десять молодых людей с лыжами и рюкзаками, остановились, отряхнули снег с валенок, и девушка в красной шапке — Зина Колмогорова — сказала, смеясь: «Ну что, Ивдель, принимай гостей!» Кротов не был там — он знал эту сцену только по рассказам, — но, стоя в этом зале, он чувствовал её так, как будто видел своими глазами: десять человек, полные сил, радости, планов, — и месяц спустя девять из них лежат на горе, а десятый, Юдин, бегаёт по Свердловску с красными от бессонницы глазами.

Он запретил себе об этом думать. Отуда, от этих мыслей, было слишком далеко, и нельзя было позволить себе раскиснуть. Он расправил плечи, взял рюкзак и пошёл туда, где кипела работа: в штаб.

Штаб спасательной операции разместили в школе — в здании из красного кирпича, где в мирное время учили детей, а теперь висели карты, стояли столы, звонил телефон, и люди в военном, в гражданском, в лыжных костюмах толпились у карт, тыкали пальцами в расстояние, спорили, делили на группы, распределяли грузы. У входа, в сенях, навалом лежали мешки с продуктами, ящики с инструментом, свёрнутые палатки, лыжи — больше лыж, чем Кротов видел за всю жизнь: простых, самодельных, дорогих, деревянных, гнутых, — всё, что удалось собрать для поиска.

Кротов нашёл глазами полковника Ортюкова — тот стоял у окна, склонившись над картой, и рядом с ним, в кирзовых сапогах и меховой шапке, стоял человек с погонами капитана — Чернышёв, командир конвойных Ивдельлага, — и ещё двое гражданских — Е.П. Масленников, мастер спорта, прилетевший из Свердловска руководить розыском на месте, и незнакомый Кротову человек с умным, внимательным лицом, в котором Кротов угадал сотрудника, которого видел в коридоре института три дня назад.

Он подошёл, встал в стороне, не мешая, и стал слушать.

— ...маршрут от Ауспии до Отортена они, по нашим расчётам, прошли двадцать восьмого-двадцать девятого, — говорил капитан, водя пальцем по карте. — Здесь — последняя стоянка, нашли костровище. Дальше — белое пятно. Снег был, метели были. По такой погоде след за два дня замечает наглухо.

— Дятлов — опытный, — вставил кто-то из гражданских. — Он бы не пошёл в такую метель.

— Он и не пошёл бы, — сказал полковник. — Вопрос в том, кто решил, что ему надо идти.

Кротов почувствовал, как холодная волна прошла по спине. Он понял, о чём думает полковник: та самая мысль, которая мучила его самого, — что случилось нечто, не укладывающееся в логику, что туристы, опытные, осторожные, не пошли бы в метель с ночёвкой на открытом склоне. Что-то произошло. Что-то их заставило. И вопрос «что» висел в воздухе, и никто не мог на него ответить.

— Искать будем по рекам, — сказал полковник, выпрямляясь. — Лозьва, Ауспия. Группы — Аксельрод, Гребенник, Слобцов. Военных — по флангам. Собаки пойдут потом, с МВД. Манси — проводниками.

— Манси? — переспросил Кротов, и сам не заметил, как произнёс это вслух.

Полковник посмотрел на него.

— Вы уже здесь, товарищ Кротов. Хотите в группу?

— Хочу.

— Куда?

— Туда, где Ауспия. Туда, где Отортен. Туда, где Холатчахль.

При последнем слове — Холатчахль — полковник на секунду замер, и лицо его, лицо человека, привыкшего не показывать удивления, на миг дрогнуло.

— Откуда вы знаете это название?

— Слышал. В горах такие вещи знают все.

— Вам не говорили, что охотники-манси это место называют Гора Мёртвых?

— Говорили. — Кротов помолчал. — И поэтому мне туда надо.

Полковник посмотрел на него долго, внимательно, как смотрят на человека, в котором чувствуют что-то непрочитанное, и кивнул:

— Идёте со Слобцовым. Утром вылет. Сейчас — на склад, получите снаряжение. И вот что, Кротов. В этой операции есть люди, которым задают вопросы, и люди, которые их не задают. Вы у нас — человек, который не задаёт. Понятно?

— Понятно.

— Хорошо. Ступайте.

Кротов вышел из штаба, и снег, сухой, колючий, ударил ему в лицо, как обухом. Он постоял на крыльце, переводя дыхание, и почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Он обернулся.

Рядом с ним, склонившись над обрывком бумаги, стояла она — та, что ехала с ним в поезде. Она чертила что-то на листке — стрелки, кружки, похоже на схему кровеносной системы, — и, подняв голову, увидела его.

— Вы тоже слышали? — спросила она. — Про манси? Про гору?

— Да.

Она помолчала, потом протянула ему листок:

— Меня зовут Елена Верещагина. Я врач. Судмедэксперт. Меня прикомандировали к поисковой группе — на случай, если... — она запнулась, и взгляд её стал твёрже, — ...если понадобится квалифицированная помощь. А это — схема. Я её нарисовала, чтобы не забыть. Тут сердце, тут сосуды... — она усмехнулась, — ...а тут — палатка. Люди делают это одинаково.

Кротов посмотрел на листок. Под схемой, в углу, неровным женским почерком было написано: «Гора. Холатчахль. Вспомнить, как пахнет тепло».

Он поднял глаза.

— Что значит «вспомнить, как пахнет тепло»?

Елена пожала плечами, но в плечах её, в этом движении, было не равнодушие, а что-то другое — осторожность, нежелание сказать слишком много.

— Это из детства. У меня бабушка в этих местах жила, под Ивделем, в тайге. Она говорила: «Когда тебе по-настоящему холодно, ты вспомни, как пахнет тепло, и ты его найдёшь». Я тогда не понимала. А теперь, вот, еду. И думаю.

— А что ещё говорила ваша бабушка?

Елена посмотрела на него, и глаза её, серые, прямые, на мгновение стали совсем другими — тёмными, глубокими, как будто из них выглянул кто-то очень старый.

— Она говорила, — сказала она тихо, — что под горой, где Холатчахль, спит бабушка. Тамошняя бабушка. Не моя. Другая. Что она спит, и изредка просыпается, и когда просыпается — забирает у людей тепло. И что ходить туда зимой нельзя. Никогда.

Она подняла глаза.

— Я всю жизнь думала, что это сказка.

Кротов смотрел на неё, и сердце его колотилось — ровно, глухо, тяжело, — и он понял, что то, о чём он молчал полтора года, подходит к нему само, с другого конца, из уст человека с серыми глазами, который не знает, кто он, и не знает, что он знает.

— Это не сказка, — сказал он, и голос его прозвучал так, как будто произносил эти слова кто-то другой. — Я был там. В пятьдесят седьмом. В феврале.

Елена замерла.

— Что?

— Я был там. В пятьдесят седьмом. — Кротов сглотнул. — Мы... я был в составе группы, которая обслуживала... неважно что. Важно другое: я стоял на этой горе ночью, и я видел свет. — Он замолчал, потому что слова кончились. — И я молчал. Полтора года молчал. И теперь у меня есть возможность...

Он не договорил. Елена взяла его за руку — за ту самую, ледяную, — и он почувствовал тепло, обычное человеческое тепло, и от этого теплота её ладони показалась ему чудом.

— Пойдёмте, — сказала она. — Пойдёмте со мной. Я знаю, где здесь можно поесть горячего. И вы мне расскажете всё. Всё, что видели. Потому что если это правда, то нам есть о чём молчать вместе.

Они пошли по посёлку, по белой, замершей улице, мимо сугробов, мимо собак, которые провожали их взглядами, — и Кротов рассказывал.

Он рассказывал о феврале пятьдесят седьмого, о той ночи, когда он, молодой инженер, в составе «обслуживающей группы» стоял на Холатчахле — там проводились испытания, он не мог сказать какие, но это были испытания, связанные с холодом и звуком, — и о том, как в полночь из-под снега, из расщелины, из глубины горы поднялся свет — бледно-голубой, огромный, живой, — и как его начальники, испуганные, сворачивали лагерь, и как один из лаборантов, молодой парень, всю ночь не мог прийти в себя и повторял: «Она шептала. Она шептала мне моё имя», — и как их вывезли оттуда через два дня, и как подписали бумаги о неразглашении, и как Кротов молчал, и спал, и не спал, и молчал.

— Вы думаете, это была она? — спросила Елена, когда он закончил. — Та самая бабушка?

— Я не знаю, что это было. Я знаю только, что это было. И что это не ушло из-под горы. Оно там. Ждёт.

Елена долго молчала, глядя перед собой на белую улицу, на сугробы, на дым, поднимающийся из труб, и потом сказала тихо, почти шёпотом:

— Я думала, я одна такая сумасшедшая. У меня с детства — сны. Про гору, про снег, про лицо, которое смотрит из-под льда. Бабушка говорила, что это горная память. Что гора помнит всех, кто приходил, и что иногда — очень редко — она зовёт. Зовёт тёплых. — Она повернулась к нему. — Знаете, что самое страшное в моих снах? Не то, что я вижу. А то, что мне там тепло.

Кротов почувствовал, как мурашки пробежали по спине.

— Нам надо найти их. — Голос его был глухим. — Надо найти, пока они... пока они ещё люди. Пока она не...

— Не забрала их память, — договорила Елена за него, и от того, что она знала это слово, от того, что она думала так же, как он, ему стало и страшно, и легко, — страшно, потому что это значило, что они оба не сумасшедшие, — легко, потому что это значило, что он больше не один.

Они сидели в столовой — маленькой, прокопчённой комнатке при вокзале, где за деревянными столами пили чай мёрзлые люди, — и ели горячую картошку с тушёной, и грели руки о кружки, и говорили, и молчали. За окном темнело, и снег шёл, и снег шёл, и снег шёл, и в этом белом, беззвучном потоке было что-то от той вечности, о которой они оба старались не думать.

Кротов рассказал ей про Римму Колеватову, про Юдина, про коробку с обратными билетами, которую он ещё не видел, но уже представлял. Елена слушала, не перебивая, и когда он замолчал, сказала:

— Я завтра поеду посмотреть палатку. Меня попросили — как врача, чтобы... — она помолчала, — ...чтобы оценить, что там могло случиться. С точки зрения медицины. Если вы хотите, поедем вместе.

— Да, — сказал Кротов. — Хочу.

Он не сказал ей, что боится. Он не сказал ей, что, перешагнув порог той палатки, он, возможно, перешагнёт порог, за которым его ждёт воспоминание, которое он так долго хранил. Он не сказал ей, что его ледяная рука, рука, которая не отогревалась два года, — холоднее всего рядом с этой горой, ближе всего к ней, в этих местах, где воздух, казалось, помнит всё, что когда-либо здесь случилось.

Но она знала. Она видела его насквозь — и не потому, что была врачом, а потому, что сама несла в себе ту же зиму.

За ужином, когда тарелки опустели и чай остыл, Елена вдруг спросила:

— А вы женаты, Анатолий?

Он поднял голову, удивлённый, — вопрос застал его врасплох.

— Нет. А вы?

— Нет. — Она улыбнулась, но улыбка её была невесёлой. — Не замужняя, не вдова, не разведённая. Просто... женщина, которая выбрала работу. Знаете, что моя бабушка говорила про таких, как мы? Она говорила: «Тех, кого зовёт гора, нельзя держать дома». Я сначала думала, что это про охотников. А потом поняла, что это про всех, кто слышит гору. Врачи, инженеры, солдаты — все, кто едет, когда зовут. Нас нельзя держать дома.

— И вас звали часто?

— Достаточно. Я работала в Свердловске, в бюро судмедэкспертизы. Видела всякое. И всё время — вы не поверите — всё время мне снился один и тот же сон. Будто я стою на белой

горе, а вокруг снег, а подо мной, глубоко, кто-то дышит. Я просыпалась и не могла понять, где я. А теперь я поняла: я не сны видела. Я это место видела. Я здесь была. Не телом — душой, памятью, кровью. Как будто гору передали мне по наследству, как бабушка передаёт внучке старинный платок.

Кротов смотрел на неё, слушал, и понимал, что она говорит правду — ту самую правду, которую он сам носил в себе, но не умел назвать словами.

— Вы знаете, — сказал он медленно, — я не верю в наследство, в платки, в сны. Я инженер. Я верю в схемы, в расчёты, в то, что можно пощупать. Но когда я увидел вас на вокзале... — он запнулся, подбирая слова, — ...я почувствовал, что знаю вас. Что мы уже стояли где-то рядом. Может быть, на той горе. Может быть, в тот самый момент, когда... — он не договорил.

— Когда гора звала, — договорила Елена, и глаза их встретились.

Они сидели и смотрели друг на друга, и в комнате, среди чужого, холодного, вокзального быта, было что-то, что не поддавалось объяснению: два человека, которые встретились на краю света, почувствовали друг друга, как чувствуют родную кровь, — и это было страшно, потому что это было больше, чем симпатия, и больше, чем совпадение. Это было как будто они оба ответили на один и тот же зов.

Кротов взял её за руку — просто так, — и она не отняла. Они сидели, держа друг друга за руки, у кружки с остывающим чаем, в этой маленькой, обшарпанной столовой на краю света, и за окном шёл снег, и где-то за сто вёрст гора дышала во сне.

Потом пришёл Матвей.

Они не видели, как он вошёл, — он появился в комнате бесшумно, как тень, как снег за окном, — невысокий старик с узким, тёмным, морщинистым лицом, со светлыми, выцветшими глазами, в меховой шапке и в распахнутой парке, от которой пахло дымом и мокрым мехом. Он сел за их стол, не спрашивая разрешения, — сел так, как садятся люди, привыкшие, что им везде есть место, — и положил на стол перед собой свёрток, и стал ждать, глядя на них светлыми, неподвижными глазами.

Кротов и Елена переглянулись.

— Вы... к нам? — спросил Кротов.

— К тебе, — сказал старик. Голос у него был низкий, хриплый, с той особой гортанной певучестью, какая бывает у людей, выросших среди тайги. — Ты — Кротов? Инженер, который видел свет на горе?

Кротову стало холодно.

— Откуда вы знаете?

— Гора шепчет, — сказал старик, и глаза его, светлые, как лёд, не моргнули. — Она шепчет про тебя, инженер. Она говорит: «Идёт человек, который видел меня, но не назвал по имени». Я — Матвей. Охотник. Манси. Меня привезли в штаб — проводником. Сказали: веди русских туда, где они ищут. А я пришёл к тебе, потому что ты — единственный, кто знает, куда идти, и не врёт всем, что идёт просто так.

Елена тихо отодвинула стул.

— А вы откуда знаете, что он видел свет? — спросила она.

Матвей медленно перевёл на неё взгляд, и в глазах его мелькнуло что-то — узнавание, удивление, древняя, старая тоска.

— А ты, девушка, — сказал он, — ты откуда знаешь про гору, а? Ты спала-спала, а гора тебе снилась. Я знаю такие глаза. Такие глаза бывают у тех, кого она звала в детстве. У нас, у манси, таких было двое за сто лет. Теперь — ты.

Елена не ответила. Она сидела, не шевелясь, и смотрела на старика, и в её серых глазах Кротов увидел тот самый глубокий страх, который она прятала, — и понял, что она тоже узнала в этом человеке что-то, что нельзя объяснить.

— Расскажи мне, дед, — сказал Кротов тихо. — Про гору. Про то, что там спит. Про бабушку, о которой ты думаешь, когда смотришь на Холатчахль.

Матвей долго молчал. Потом он развернул свёрток, который положил на стол, — и в нём оказалась старая, выцветшая фотокарточка: молодая женщина с тёмным, строгим лицом, в платке, смотрела с неё, не улыбаясь.

— Моя мать, — сказал Матвей. — Её звали Аймани. Она умерла, когда мне было семь. Её схоронили у горы, у Холатчахля, потому что она родилась у этой горы и у горы хотела лежать. И вот что, инженер. Когда я был мальчишка, я слышал, как старики говорили: гора — это не гора. Это женщина. Огромная, старая женщина из льда и земли, которая спит. Она спит тысячи лет. И когда она спит, ей снится тепло. А когда она просыпается — она ищет, кто бы её согрел. Она собирает тёплых, как собирают дрова, и греется ими, и помнит их всех, каждого, по имени. Это не зло, — Матвей поднял глаза, и Кротов увидел в них что-то, от чего у него защемило сердце, — это голод. Понимаешь, инженер? Это не зло. Это голод. Она не убивает — она собирает. Как бабушка собирает внуков, чтобы они спали рядом и ей не было холодно.

В комнате стало тихо. Снег стучал в окно. Где-то вдалеке завывала собака — тонко, тоскливо, по-зимнему.

— И те девять человек, — тихо сказала Елена. — Они там. У неё.

Матвей посмотрел на неё, и глаза его были старые, древние, как сама гора.

— Они у неё, — сказал он. — Она спит, и они у неё, тёплые, в её памяти, как семена в земле. Она не отдаст их просто так. Она отдаст их только тому, кто придёт к ней не за ними, а за ней самой. Тому, кто помнит её имя.

— Какое имя? — спросил Кротов.

Матвей долго смотрел на него, и потом сказал — тихо, нараспев, как говорят старики, когда рассказывают самое дорогое:

— Томтэ-Аква. Так звали её наши старики. На нашем языке это значит... — он замялся, подбирая слово, — ...«спящая бабушка». Но это не то, что ты думаешь. Это не она. Это имя — от неё. Когда она спит, она называет себя сама. Томтэ-Аква. Спящая бабушка. Ей не нужны имена людей, инженер. Ей нужно, чтобы её назвали. Тогда она просыпается по-настоящему. И тогда...

Он замолчал, и не договорил, и Кротов не стал спрашивать, потому что понял: это знание — не для того, чтобы задавать вопросы. Это знание — для того, чтобы нести его, как несут груз, до самого конца.

Ночью, в комнате, которую им выделили в школе — две кровати, печка, морозное окно, — Кротов лежал без сна и смотрел в потолок. За стеной, в соседней комнате, спала Елена; он слышал сквозь стену её тихое, ровное дыхание. Снег шёл. Ветер гудел в трубе. И где-то за сто вёрст, за лесами, за перевалами, лежала гора, и под ней дышала во сне Томтэ-Аква, и ей снились тёплые.

Кротов поднял руку и посмотрел на неё в темноте. Рука была холодная. Она была холодная со вчерашнего дня, с того самого мига, когда за его спиной в коридоре прозвучало имя — Дятлов. Он потёр её, растёр, сжал в кулак — тепло не приходило.

«Ты уже её часть, — сказал ему внутри голос, похожий на голос Матвея. — Твоя рука уже согревает её. Она уже помнит тебя. Ты уже идёшь к ней, и она знает, что ты идёшь».

Он зажмурился, закусил губу, приказал себе не думать. Но мысли не уходили. Мысли стояли перед ним, как девять теней, — девять человек, которые шли на эту гору и не вернулись, и которые теперь были там, тёплые, в её памяти, как семена в земле.

— Я приду, — прошептал он в темноту. — Я приду за вами. Только посмейте подождать меня. Только посмейте не остыть окончательно.

За стеной, сквозь ровное дыхание Елены, ему послышался ответ — низкий, тягучий гул, похожий на вздох, который шёл не из-за стены, а откуда-то из-под земли, из-под снега, из глубины.

Он закрыл глаза, и снег шёл, и гора дышала, и завтра приближалось, как приближается к спящему кромка сна: медленно, неумолимо, по сантиметру за вечность.

Утром, на рассвете, Кротов вышел из школы и увидел Ивдель в розовом снегу, в морозном дыму, в низком, красно-золотом солнце, которое не поднималось, а стлалось по земле, как туман. Посёлок просыпался: хлопали двери, скрипели нары под санями, пахло хлебом, дымом и морозом. У колодца стояли бабы с вёдрами, у забора — мальчишки с санками, и всё это было такое обычное, такое живое, такое человеческое — и всё это стояло на краю огромной, белой, молчаливой пустоты, где начиналась тайга.

Кротов дошёл до окраины, до последних домов, за которыми уже не было ничего, кроме снега и леса, и остановился, и посмотрел на север. Там, за горизонтом, за лесами, лежала она — гора. Он не видел её, он знал, что не увидит отсюда, но он чувствовал её: как чувствуют родного человека, который ушёл в другую комнату и молчит.

— Далеко ли до неё? — спросил он у подошедшего сзади Матвея.

Старик остановился рядом, посмотрел туда же, куда смотрел Кротов, и сказал:

— До неё — шестьдесят вёрст. А до неё, — он тронул рукой свою грудь, — до неё — вот столько. Она везде, инженер. Она — это зима.

— Вы вернётесь с нами? — спросил Кротов. — В штаб? Проводником?

Матвей долго молчал, глядя на север. Потом сказал:

— Не хочу туда, где найдут мёртвых. Не хочу туда, где она взяла. Но если ты идёшь — пойду и я. Ты — единственный, кто говорит с ней правду. Ты не боишься её — ты её боишься, но не врёшь, что не боишься. Такие, как ты, ей нужны. Она ждёт, когда кто-нибудь придёт и скажет ей имя.

— Она злая? — тихо спросил Кротов.

Матвей посмотрел на него — долго, своими светлыми, выцветшими глазами, в которых стояла тысяча зим, — и сказал:

— Ветер злой? Снег злой? Мороз злой? Ты скажешь — нет, это природа. А для тех, кто умер от него, — он злой. Она не злая, инженер. Она — как зима. Она просто есть. И она очень, очень старая. Она старше наших богов. Старше камней. Старше самой памяти. И она помнит всё. Всё, — повторил он, и голос его дрогнул. — Она помнит мать мою. Она помнит тех, кто приходил до неё. Она помнит всех, кто когда-либо был тёплым на этой земле. И когда она спит, ей снится, что они все живы. А когда просыпается — она ищет их, потому что ей холодно без них.

Кротов не нашёл слов. Они стояли на краю посёлка, на краю света, и смотрели на север, где лежала гора, и снег шёл, и гора дышала, и завтра — уже сегодня — приближалось.

В штабе, куда они вернулись, было ещёлюдно и ещё тревожнее, чем накануне. Прибыли новые люди: летчики, связисты, кинологи с собаками — две овчарки, Альма и Байкал, — и охотники-манси, которых привезли из соседних стойбищ: двое, старик и молодой парень, в меховых малицах, с тёмными, непроницаемыми лицами. Они стояли у стены, отдельно от всех, и молчали, и Кротов заметил, как они переглянулись, когда услышали название горы на карте.

Полковник Ортюков собрал всех в большой комнате, развернул карту, воткнул в неё флажки и обвёл карандашом район поисков — огромный, белый, пустой треугольник между реками Лозьва и Ауспия, с горами 1079, 880, 1182, с Отортенем и Ойко-Чакурном.

— Товарищи, — сказал он. — Поисковая операция начинается. В следующие дни в район будут высажены группы: Аксельрод, Гребенник, Слобцов. С ними — военные, сапёры с миноискателями, кинологи, радисты. Задача — прочесать долины Лозьвы и Ауспии, найти следы группы Дятлова, найти саму группу. Искать будем и с воздуха: самолёт Ан-2 будет облетать

район, искать следы, палатку, людей. Если группа жива, она должна оставить следы. Если она не жива... — полковник помолчал, — ...мы всё равно должны найти их и вернуть домой. Это наш долг.

Он замолчал, и в комнате стало тихо. Кто-то кашлянул. Кто-то переступил с ноги на ногу.

— Вопросы?

— Разрешите, товарищ полковник, — подал голос один из манси — старик. — Можно слово.

— Говорите.

Старик вышел вперёд, встал перед картой, и Кротов увидел, как он смотрит на неё — не так, как смотрели остальные: не на линии, не на флажки, не на расстояния, — а как смотрят на то, что знают лучше карты.

— Туда не надо ходить, — сказал старик. — Туда, где эти горы. Это плохое место. У нас так говорят: гора Холатчахль — это место, куда не ходят. Там спит... — он запнулся, подбирая слово, которое было бы понятно всем, — ...там спит то, что у нас называют Томтэ-Аква. Спящая бабушка. Она спит. Разбудить её — беда. Большая беда. Наши деды не ходили туда. Мы не ходим. Кто ходил — не возвращались. И те русские, что пропали, — старик посмотрел на карту, и голос его стал тише, — они ушли туда. Они у неё. Она взяла их. Не ходите туда. Вы не найдёте их. Вы найдёте только то, что она отдаст. А она отдаст не всё.

В комнате повисло напряжённое молчание. Кто-то из молодых туристов хмыкнул, кто-то переглянулся, но старик говорил так, что смеяться не хотелось.

— Вы суевериям не верьте, дед, — сказал капитан Чернышёв, командир конвойных, и голос его был спокойным, как у человека, который видел многое и не верит ни во что. — Мы найдём их. Мы люди, мы всё найдём.

— Найдёте, — сказал старик, и в голосе его не было спора, а было сожаление. — Найдёте. Только то, что вы найдёте, вам не понравится. И когда вы уйдёте, она останется. Она всегда остаётся.

Он отошёл к стене и встал рядом с Матвеем, и они переглянулись, и Кротов увидел в этом взгляде то, что нельзя было передать словами: они знали. Они оба знали, что русские найдут не то, что ищут, и что гора не отдаст то, что взяла.

После собрания Кротов подошёл к Матвею.

— Вы пойдёте с нами? — спросил он.

— Пойду, — сказал Матвей. — Не потому, что хочу. Потому что надо, чтобы кто-то из нас был там, когда вы найдёте. Чтобы сказать вам, что вы видите. Чтобы вы не сошли с ума, когда увидите.

— Вы видели её? — тихо спросил Кротов. — Томтэ-Акву?

Матвей долго молчал. Потом поднял левую руку, стянул рукавицу и показал Кротову ладонь. На ладони, на старой, морщинистой коже, Кротов увидел след — странный, бледный, ровный круговой ожог, какого не бывает ни от огня, ни от металла: тонкое кольцо, идеально круглое, как будто кто-то приложил к ладони ледяную печать.

— Дважды, — сказал Матвей. — Дважды я видел её. Первый раз — когда был мальчишка, ходил к горе, не послушал деда. Второй раз — три года назад, зимой, когда пошёл спасать лосиный след и заблудился. Она вышла мне навстречу. Не та, что спит, — та, что помнит. Она взяла мою руку, вот так, — он сжал кулак, — и отпустила. И сказала мне слово. Одно слово. Я не скажу его тебе, инженер. Оно не для людей. Но с тех пор я знаю: она не злая. Она — старая. И она ждёт. Ждёт, когда кто-нибудь придёт и назовёт её по имени. Не как охотника — как внука: «Бабушка, я пришёл». Тогда она проснётся по-настоящему. И тогда, — Матвей поднял на Кротова светлые глаза, — тогда она, может быть, отдаст тёплых. А может быть, заберёт всех, кто рядом.

Кротов смотрел на старика, на эти светлые глаза, в которых стояла тысяча зим, — и понимал, что не верить Матвею нельзя. Не потому, что у него был след на ладони. Потому, что Кротов сам видел свет.

«Бабушка, я пришёл», — повторил он про себя, и от этих слов, от их простоты и их древности, у него побежали мурашки по спине.

В тот же вечер в Ивдель прилетела новость, которая заставила всех замолчать.

Радист поймал сообщение от группы Карелина — туристической группы, которая шла своим маршрутом в тех же горах и которую тоже привлекли к поискам. Сообщение было короткое, деловое, но от него у всех похолодело внутри:

«17 февраля, около семи утра, наблюдали в небе необычное явление: светящийся шар, размером с полную луну, летел с юга на север, в сторону Отортена. Свечение увеличивалось в течение пятнадцати мин

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.